Вячеслав Кушнир  
  
**Жизнь артистки Косицкой, возлюбленной драматурга Островского  
  
или  
  
РАБА БОЖИЯ ЛЮБОВЬ**  
  
*ДРАМА В ЧЕТЫРЁХ ДЕЙСТВИЯХ*  
  
  
  
место действия \_ подмосковная помещичья усадьба  
время действия \_ 1859, 63 и 68 г. г.  
  
  
  
  
ЛИЦА:  
  
КОСИЦКАЯ (Никулина) Любовь Павловна. Актриса. 32 (+) года  
ОСТРОВСКИЙ Александр Николаевич. Драматург. 36 (+) лет  
ПИНАЕВ Борис Михайлович. Помещик, бывший актёр. Лет 50  
НАТАЛИЯ, дочь брата Косицкой, Сергея. Актриса, помещица.  
ФЕДОС (Феодосий Самсонович Соколов). Купеческий сын.  
  
  
  
  
ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ (1859 год)  
  
СЦЕНА 1. Лето. В гостиной помещичьего дома в подмосковной деревне, калачиком, в дальнем углу просторного дивана, спит, в платье, Наталия. Входит, легко и свободно одетый, Пинаев, с пледом на плече и подушками в руках.  
  
ПИНАЕВ. Спать… спать. (Не обратив внимания на Наталию, плюхается на диван.) Что за помеха… Ой!?  
НАТАЛИЯ (спохватившись). Ой!  
ПИНАЕВ. Что такое!?  
НАТАЛИЯ. Аккуратнее!  
ПИНАЕВ. Ты кто?  
НАТАЛИЯ. А вы?  
ПИНАЕВ. Я здесь хозяин. Пинаев Борис Михайлович, помещик.  
НАТАЛИЯ. Ох, простите! Заснула. Я – Наталия, племянница Любови Павловны…  
ПИНАЕВ. Вон оно как! Ничего-ничего, лежите, отдыхайте, я найду себе место… Да вот, хоть на канапе.  
НАТАЛИЯ. Простите, простите, простите…  
ПИНАЕВ. Да бог с вами, прелесть такая, извините за бестактность, вырвалось. Но прелесть ведь, самая натуральная прелесть!  
НАТАЛИЯ. Со сна я, со сна.  
ПИНАЕВ (борется со сном). Да хоть со сна, хоть берёза, хоть бузина, будь она неладна, но прелесть же! Ухожу, ухожу.  
НАТАЛИЯ. Нет-нет, это я уйду! Всё одно гулять хотели с тётей, просто выйду вперёд, у нас привычный маршрут, не разойдёмся.  
ПИНАЕВ. Говорите-говорите, просто птичка поёт…  
НАТАЛИЯ. Нам сказали, вы сегодня приедете. Так что, вы с дороги, устали, отдохните...  
ПИНАЕВ. Да нет уже нигде усталости и дорожные тяготы слетели, как вас увидел.  
НАТАЛИЯ. А я пойду.  
ПИНАЕВ. Нет-нет, лежите, не беспокойтесь, мне, старику, приятно просто полюбоваться столь живописным портретом наяву. Любовь Павловна отдыхает?  
НАТАЛИЯ. Право, не знаю. Я вышла из комнаты моей, стала ждать, слуги все в разбеге по случаю вашего приезда, Любовь Павловну никто не встречал…  
ПИНАЕВ. А не приказать ли вам завтрак?  
НАТАЛИЯ. И в комнате её нет.  
ПИНАЕВ. Может быть, вышла к реке, тоскует, сколько её помню, по своей Волге.  
НАТАЛИЯ. Что вы, я так рано не кушаю.  
ПИНАЕВ. Актриса, я слышал, как тётушка?  
НАТАЛИЯ. Куда мне до неё!.. Она в семнадцать лет, кончив всего один курс школы, имела триумф на сцене Малого театра, в присутствии царской фамилии, а я теперь в том же возрасте, и что. Ну, что-то да, но всё ещё рано, рано, рано.  
ПИНАЕВ. Диета, конечно!  
НАТАЛИЯ. Так, подвизаюсь.  
ПИНАЕВ. Не знаю, как с талантом, милая девушка, но внешние данные у вас – что надо! И даже с горочкой. Не обижайтесь и не смущайтесь, я не просто старикашка-бездельник, я бывший актёр с двадцатилетним стажем.  Облаго… благод… Чёрт, потерял сноровку! Ну, и бог с ним, с бывшим ремеслом. Проще говоря, пять лет, как свалилось на голову наследство от троюродной тётушки, страшной, доложу я вам, театральной фанаткой.   
НАТАЛИЯ. Знаю, говорили. Повезло!  
ПИНАЕВ. Могу позволить себе некоторую вольность. И вы не стесняйтесь, позволяйте себе, я буду только рад, ведь мы одного племени, одной, можно сказать, крови.  
НАТАЛИЯ. Не обижаюсь, что вы, не за что. Пойду-пойду, вы же засыпаете!  
ПИНАЕВ. Да? Бывает. Возраст. Дорога дальняя, швейцарская, русская… ещё какая-то…  
  
Входит со двора Косицкая  
  
КОСИЦКАЯ. Боренька!  
ПИНАЕВ. Любаша! (Расцеловывается с Косицкой, по-дружески.)  
КОСИЦКАЯ. Борюсик…  
ПИНАЕВ. Любаня…  
КОСИЦКАЯ. Пупсик… Зайка…  
ПИНАЕВ. Да какой уж тут зайка, домашний кролик теперь.  
КОСИЦКАЯ. Ты про что?  
ПИНАЕВ. Про питание, Люба, про питание.  Опять же, хорошего человека должно быть побольше.  
НАТАЛИЯ. У мужчины всё, что выше пояса, - грудь.  
ПИНАЕВ. Золотые слова! Я просто млею от твоей юной родственницы, как бы не разомлеть окончательно. Ты придумала одеться, как наши крестьянки, я и обалдел, когда наткнулся на твою племянницу, когда прилёг…  
КОСИЦКАЯ. Всю мою вечную молодость бьюсь с размерами. Пышка я?  
ПИНАЕВ. Пышка, пышка.  
КОСИЦКАЯ. Могло быть и хуже.  
ПИНАЕВ. Хуже быть не может. О, Господи, я в том смысле, что ты не допустила бы!  
КОСИЦКАЯ. Видимо, придётся поплотнее заняться туловищем. А вроде бы плотнее некуда…  
ПИНАЕВ. Наладится. На то она и деревня, чтобы добреть.  
КОСИЦКАЯ. На самом деле, я высокая изящная блондинка, с припухлыми губёшками и аккуратными бодренькими сисёшками.  
НАТАЛИЯ. И с осиной талией.  
КОСИЦКАЯ. Вот! Глазастая моя.  
ПИНАЕВ. С осиной? Как узнали?  
НАТАЛИЯ. Кусается.  
ПИНАЕВ. Прима! У тебя не семья, Любовь Павловна, осиное гнездо!  
КОСИЦКАЯ. А то. Там ещё братьев стая да сестра.  
НАТАЛИЯ. Верочка ещё подрастает.  
ПИНАЕВ. Верочка?  
НАТАЛИЯ. Тёткина дочка.  
КОСИЦКАЯ. Просто меня почему-то никто не хочет видеть, причём, так упорно, аж оторопь берёт, неужели в народе завелась не только куриная, но ещё и петушиная слепота. Эй, мужчины, разуйте взоры и обратите их не на то, что видится, а на то, чего хочется! Это же есть в каждой женщине, даже в той, с которой обручены и ночуете. Ежели не видно, сделайте правильное освещение, не то, вам могут так засветить в глаз, что только одна эта подсветка и останется на всю оставшуюся жизнь; слепцы ленивые.  
ПИНАЕВ. Но канканчик, небось, племяшка вместо тебя выкаблучивает.  
КОСИЦКАЯ. А вот тут, милок, обидно даже выслушивать такое подозрение!..  
ПИНАЕВ. Ах, как вспомню, как летали твои юбки, а из-под них стройнюшенькие ноженьки вжик-вжик!.. мужская публика на ярмарке просто плашмя падала, в поленницы.  
КОСИЦКАЯ. Ах, ты ж зануда. Хочешь канкану – оно есть у меня. (Танцует.) А ну, кролик, присоединяйся.  
ПИНАЕВ. Эх, жизнь моя копейка, судьба моя индейка. Держи, Любаня, остатки старого, но, чёрт побери, уникального актёра. (Присоединяется к танцу Косицкой.) А что, Наталия, слабо с мастерами ножками подрыгать?  
КОСИЦКАЯ. Боится, что отвяжутся.  
НАТАЛИЯ. Ещё чего! (Присоединяется к танцу.)  
КОСИЦКАЯ (невольно толкнув Пинаева). Ой, прости!  
ПИНАЕВ (упав на диван). Слава богу, я на диване.  
НАТАЛИЯ. Тётя Люба, ты уронила мужчину!  
ПИНАЕВ. Ладно – мужчину, она уронила авторитет руководителя помещичьего хозяйства! Ты себе представить не можешь, сколько глаз сейчас за нами подглядывает.  
КОСИЦКАЯ. Представляю, сама была крепостной.  
ПИНАЕВ. Ну, тут уж, кто кем родился, так уж вышло, как вышло. В главном мы ровня – актёры.  
КОСИЦКАЯ. Да просто люди. Я вернулась за племяшкой. А ты отдыхай, видно же, глаза осоловелые, устал…  
НАТАЛИЯ. Да Борис Михайлович на ходу засыпает.  
ПИНАЕВ. Дорогие дамы, вы зрите в корень.  
КОСИЦКАЯ. Наташа, обожди на дворе, у ворот, я сейчас выйду. Ещё наговоримся, Боря. Да, я попросила твою ключницу, чтобы меня в гостевую избу перевели жить. Нельзя терять формы, придётся выть, скакать, а в доме – люди, ни к чему пугать. Не возражаешь?  
ПИНАЕВ. Царица, ты во всём всегда права.  
НАТАЛИЯ. Он уже спит.  
ПИНАЕВ. Ещё нет.  
КОСИЦКАЯ. И благодарю тебя ещё раз за кров на лето, если бы ты только знал, как это сейчас кстати. Я – скоро, Наташа. Пинаев, отдыхай. (Уходит в комнаты.)  
ПИНАЕВ. Знаю, дорогая вы наша великая Любовь Павловна, очень знаю. От русских слухов и действительных известий никакая Швейцария не скроет, и Альпы не загородят. Я ж потому и поспешил отправить ей письмо с приглашением к себе на лето, чтобы отдохнула от всего, развеялась, поразмыслила.  А-то ведь ещё и эта сомнительная привычка всем театром летом отдыхать вместе. Я вот поразмышлял и умыслил. Как же Любе нужен Островский, кто бы только знал!  
НАТАЛИЯ. Островский?  
ПИНАЕВ. Только он может её спасти. Положение в театре-то она теряет, если уже не потеряла. Не принёс ей радости прошлый пятьдесят восьмой год. За сезон она сыграла всего семь новых ролей и десять старых. Васильева за это время получила четырнадцать, а Медведева шестнадцать новых! И старый репертуар играли тоже они. Бенефис, и тот не спас. Да ещё в интерпретации Никулина. Амбициозный, злой, мстительный – всё это со сцены так и прёт, от неё ничего ни утаишь, особенно, если даже не понимаешь, кто ты есть. Зритель Никулина не любит и как актёра. Нелюбовь к Никулину перекинулась и на Никулину-Косицкую.  
НАТАЛИЯ. Как вы всё знаете!  
ПИНАЕВ. Островский её спасёт, потому что она – его актриса, а он – её автор, и вместе они – русский театр вообще и Малый императорский в частности. Но, судя по всему, тщетно. Слишком много злого и пакостного совершил Любин супруг. Говорят, что Люба теперь даже официальные письма подписывает: Косицкая, не как раньше: Никулина-Косицкая. Наталия, верно ли, что Никулин уехал в долгий отпуск из театра в провинцию?  
НАТАЛИЯ. И то, что уехал, и то, что попался под руку тётеньке с любовницей – всё верно. А вот насчёт Островского я не в курсе, в школе об этом при мне не очень распространяются.  
ПИНАЕВ. Никулин так ненавидит нашего великого драматурга, что организовал штаб военных действий против него. Люба слишком поздно узнала, говорят, чтоб пресечь. Эти чёртовы распри между западниками и славянофилами нашего Островского чуть не раздавили, пришлось ему отбиваться, отгавкиваться, отписываться. Его многие слова очень запомнились. Например, «Жить только для семьи — это животный эгоизм, жить для одного человека — низость, жить только для себя — позор». Вместо того, чтобы сочинять чудные пьесы и двигать далее и ввысь русский наш театр. Что скажешь против его простого приговора: «Без пьесы, как бы ни были талантливы актеры, играть им нечего». Кроме одного, что пьесе без актёров сложновато. А для пьес Островского она чистое золото, ведь более русского типа, со всеми нежностями русской души, найти нельзя! Да я и сам попал в театре под раскол труппы, там такие имена сражались меж собой, кланы! И так вовремя поспело наследство любезной тётушки, что просто, как в сказке.  
НАТАЛИЯ. Вы так любите театр, так знаете его, и всё же оставили.  
ПИНАЕВ. А я тоже точно понимаю моё место. Мало любить, мало хотеть, надо же ещё и быть! Я не Щепкин, даже не Живокини, хоть и не хуже, но всё же не Ленский, с его амбициями и умением сочинять водевили. Я понимал, что когда уйду, театр не заметит, и не заметил. Зато я жив-здоров и живу с природой. Но не во мне же дело, свет-Наталия! Три года продолжалась отвратительная дикая травля гения! Кого в ней только не участвовало, актёры, литераторы – творцы!.. включая газеты и журналы Москвы и Петербурга. И чего, спрашивается, на драматурга набросились! И ведь за что, одним он не по нраву, что недостаточно русский, а другим – что недостаточно европейский. Причём, уничтожают драматурга не за пьесу, которой они не читали, а за спектакль, который сочинил не он, а десятки других людей. А ведь Александр Николаевич совершенно точно знает своё место и блюдёт его честно, он один такой – истинный драматург. Ведь что он говорит: «Публика ходит в театр смотреть хорошее исполнение хороших пьес, а не саму пьесу: пьесу можно и прочесть». Его за это осознания на руках носить надо, а не в отхожее место заталкивать головой, тем паче, что дерьмо-то там не его, а ихнее, тех, кто топит.  
НАТАЛИЯ. Как вы крепко выразились, неловко даже.  
ПИНАЕВ. Вас задело? Извините. Но как же вы с таким отношением к проявлениям эмоций, театру служите? Шекспир вас не понял бы, да и наше отечественное закулисье тоже.  
НАТАЛИЯ. Мы не за кулисами, и я не прирождённая артистка. Хотя многому училась, ещё больше теперь могу, но для алтаря не предназначена. Так мне теперь думается. Простите, Борис Михайлович, я вас прервала.  
ПИНАЕВ. Вам, верно, неинтересно меня слушать.  
НАТАЛИЯ. Что вы! Очень, очень интересно. Вы такой потрясающий, когда в экзальтации, я от вас просто в восторге. Такой обаятельный, светлый.  
ПИНАЕВ. Да уж, надо отдать мне должное, человек я на редкость хороший, несмотря, что бывший актёр и урождённый дворянин. Может одно с другим сошлись в поединке и вышибли себя из меня.  
НАТАЛИЯ. Весёлый вы.  
ПИНАЕВ. А местами ещё и озорной, не поверите.  
НАТАЛИЯ. И, конечно, Островский – это так много для всего русского, что есть в России. Тётенька так говорит.  
ПИНАЕВ. О, да… пожалуй, что и больше, чем много, ежели иметь ввиду будущие времена. Три года – это только пик, когда изо дня в день, по всем фронтам! А ведь это спланированное, с заранее обдуманным намерением преступление. Господи, да почему же в России русские так не любят русских!.. ни передать, ни выразить. Как будто все мы здесь не одним миром мазаны.  Про таких Александр Николаевич говаривал: «Только два сорта и есть, податься некуда: либо патриот своего отечества, либо мерзавец своей жизни». Выжил же ещё как-то. Даже в плагиате обвинили да скоро сами же себя и разоблачили, прилюдно. Дураки и неумехи! И смех, и грех, и страх, и ужас. Так-то.  
НАТАЛИЯ. Островский думает, что тётя тоже пошла против него?  
ПИНАЕВ. Наверное. Хотя все понимают, что она не могла участвовать в травле, но чтоб вообще не быть в курсе, тут мало, кто поверит, тем паче Островский. Я верю Любе, я её знаю. Но Александр Николаевич слишком закрыт и недоступен нашему простецкому пониманию, гений потому что.  
НАТАЛИЯ. А может быть, чувства между тётенькой и Островским помогут им объединиться?  
ПИНАЕВ. Какие чувства, девочка моя?  
НАТАЛИЯ. Ну, нежные…  
ПИНАЕВ. У них нежная дружба, правда с прибамбасами, очень уж они любят друга подковырнуть, подколоть. Или вами имеется ввиду нечто ещё?  
НАТАЛИЯ. Естественно. Я - про близкие отношения между мужчиной и женщиной.  
ПИНАЕВ. И я про то же. У меня, скажем, с Любой, тоже давняя искренняя дружба.  
НАТАЛИЯ. Что ж вы не понимаете, я толкую про амуры не только душевные и духовные, но и, простите, телесные…  
ПИНАЕВ. Не было меж ними никаких-таких амуров, уж я знал бы. Одна только чистая дружба двух великих талантов. Неужели что можно было бы спрятать от театра запретное, да ни в жизнь. Нет, ну, единичный случай, может быть, но повторный ни за что. Да разве может остановиться настоящий мужчина, вроде, Островского или, скажем, меня, на единственном разе с Косицкой! Я вас умоляю, ни за какие коврижки, там было бы всё – до неба или до дна, с фейерверками и катастрофами… (Спохватившись.) И тому подобное. Это я фантазирую и предполагаю. Всё, Наталия… как по отечеству-то?  
НАТАЛИЯ. Сергеевна.  
ПИНАЕВ. Тоже Косицкая?  
НАТАЛИЯ. Да.  
ПИНАЕВ. Так вот, Наталия свет Сергеевна, оставьте старика, как силы уже оставили меня, не обессудьте, очень уж спать хочется, невмоготу!  
НАТАЛИЯ.  Конечно-конечно.  
ПИНАЕВ. А потом встретимся, сами приходите, пообсуждаем высшие материи со всяким другим материалом, вперемешку. Больно уж вы хороши, госпожа Косицкая-Вторая.  
НАТАЛИЯ. Добрых снов, Борис Михайлович. Приду. (Уходит во двор.)  
ПИНАЕВ (засыпая). Один. Спаси и сохрани, Господи, раба твоего… (Засыпает.)  
  
Из комнат выходит Косицкая, видит спящего Пинаева, идёт к двери на двор. Навстречу, со двора, входит Островский.  
  
КОСИЦКАЯ (шёпотом). Боже!?  
ОСТРОВСКИЙ. Любовь Павловна!  
КОСИЦКАЯ. Тсс… спит.  
ПИНАЕВ (сквозь дрёму, видит гостей). Островский… Косицкая…  
КОСИЦКАЯ. Уходим. (Уводит Островского из дому.)  
ПИНАЕВ (спросонья). Островский с Косицкой, вдвоём!? Приснится же такое… бред. Спаси и сохрани, Господи, раба твоего Пинаева… только не пинай… я же сплю. (Засыпает.)  
  
СЦЕНА 2. На берегу. Косицкая и Островский долго молчат.  
  
КОСИЦКАЯ. Чудо.  
ОСТРОВСКИЙ. Заговорили! А я уж думал, так и промолчим до самого моего отъезда.  
КОСИЦКАЯ. Божья милость.  
ОСТРОВСКИЙ. Места здесь действительно прекрасны. Красота умиротворяет.  
КОСИЦКАЯ. Да, но не о местах, я о вас. О вашем приезде… явлении. Реки люблю. Как увижу, так дебют мой вспоминаю. Не из-за успеха, не из-за себя, - из-за Волги. После дебюта, как я была довольна, как я молилась в этот вечер и не сумела благодарить Царя Небесного! Воротясь домой, дала себе слово не спать всю ночь. Ночь лунная, тёплая, лёд уже прошёл по Волге, я погуляла по лугу; воротясь домой, поужинала и села к окну глядеть на луну и Волгу. Как мне было хорошо. Я и теперь не могу дать отчёта, что я чувствовала, а так просто – было хорошо! И глядела я на луну и на Волгу, и на Волге слышались песни бурлаков, полные грусти, полные радости; так покойна была та ночь и я пела песни, у открытого окошка, и не было человека счастливее меня в целом мире. Занялась заря: сделалось свежо, и сквозь лёгкий туман, точно сквозь кисейное покрывало, показались караваны. На Волге, как только сойдёт лёд, иногда ещё и не совсем, идут целыми стадами суда разной величины и красоты. Волка с Окой под Нижним разливается вёрст на сорок шириною, по отлогому берегу; затопит всю ярмарку, все луга, все селенья, все леса вокруг себя; у лесов, в ином месте, только и видны макушки, а селения словно на ладошке стоят на белом песке и такая-то красота, глядишь, глядишь и не насмотришься, только вздохнёшь и сотворишь молитву. Стало уже светло, показалось судёнышко, как точка, а потом сделается чайкой… Чайка растёт, растёт и летит на белых парусах вниз, а за нею в погоню ещё и ещё, и ещё… А из-за горы им навстречу солнышко, и прямо так и глянет им в лицо.  
ОСТРОВСКИЙ. Какая картина бывает чудная! Туман на парусах отливает радугой; радуга идёт всё выше и выше, очистится весь воздух и осветится весь караван и глаз не может видеть конца ему! Сделается и грустно, и радостно…  
КОСИЦКАЯ. И такая тишина кругом тебя, точно сам Господь сошёл на землю, чтобы водворить тишину, чтобы поставить каждое дело своей рукой великой на свою святую землю. В то утро случилось несчастье на Волге, на самой стрелке. Было уже часов шесть утра, быстро шло одно судёнышко, полное грузом, глубоко сидело в воде, и в одну минуту перевернулось носом вниз. Прислуга бросилась спасаться, крики «на помощь», косные лодки роем полетели к ним… Как узналось после почти все были спасены. Почти. У разшивы прорезало льдиной самый нос и разшива пошла ко дну, со всем грузом.  
ОСТРОВСКИЙ. Да, Волга, как холодная красавица, любит жертвы; ни одна река не поглощает столько человечества, как Волга. Потому ли, что людна очень, или, что быстра – Бог её знает.  
КОСИЦКАЯ. Как хорошо ты знаешь Волгу!?  
ОСТРОВСКИЙ. В пятьдесят шестом году, в соответствии с пожеланием великого князя Константина Николаевича, состоялась командировка выдающихся литераторов для изучения и описания различных местностей России в промышленном и бытовом отношениях. Я взял на себя изучение Волги от верховьев до Нижнего Новгорода.  
КОСИЦКАЯ. Да, да, конечно! Господи, помилуй; мы так всецело понимаем друг друга, так проникновенно чувствуем… Александр, разве мы не одно целое? Мы едины…  
ОСТРОВСКИЙ. Я привёз вам мой свежий двухтомник.  
КОСИЦКАЯ. О, долгожданный! Благодарю! С автографом?  
ОСТРОВСКИЙ. Конечно.  
КОСИЦКАЯ. Не приму, ежели в нём нет признания в любви ко мне…  
ОСТРОВСКИЙ. В пятьдесят втором, на похоронах Гоголя, я прошёл пешком среди приближенных к покойному, и сел в ваши сани… до самого кладбища. В виду Даниловского монастыря, его церквей и колоколен, вы размечтались, припомнили разные случаи из детства, когда отрадно звонили колокола родины…  Как смешно и страшно вы тогда сказали: «Мы, с Гоголем, брат и сестра для высшего света, для чиновников и для образованного общества, нас, двоих, и считали, и называли официально – плебеи».  
КОСИЦКАЯ. Да разве что-то изменилось? Только Николая Васильевича оправдает время, ведь он писатель, да и не был плебеем по рождению. А я была и есть, и помру чернью. Рабыней! Меня, актрису, даже не вспомнят. Ну, и что! Нам, с Его Императорским Величеством Театром, достаточно того, что я была Его подданной, ежели даже и Он запамятует, как меня зовут.  
ОСТРОВСКИЙ. Не запамятует.  
КОСИЦКАЯ. Какое страшное было время, не было пьес, чтобы зазвать публику! Впрочем, я вышла замуж, родила, и в очередной раз потеряла все мои роли. Меня тогда опять сместили с трона, как и сейчас, в очередной раз. А рабыня возьми да ещё и растолстей. Да почему же нет-то! Разве таланту не всё равно, каковы размеры выдающихся актёрских мест. Он же ж любой слой жира пробьёт не только у меня, но и в зале! Я злая, грубая, да? Рабыня. Рабыня на троне!.. ха-ха-ха!.. рабыня - царица… нонсенс! Мне обратно уже не взойти. Да, господин Островский? Не отвечай. Знаю всё варианты ответов, равно, как все выходы и входы. Я ж не Боря Пинаев, на меня наследство не свалиться, кормиться, кроме как подмостками, нечем… Ну, ещё может быть замужеством. Но этим я сыта! Что, Александр Николаевич, что? Ах, виновата, как медведица, опять веду себя, неуклюжая, вы же что-то вспоминали.  
ОСТРОВСКИЙ. Мой дебют в Малом состоялся лишь через год после смерти Гоголя.  
КОСИЦКАЯ. Простите мне меня, пожалуйста.  
ОСТРОВСКИЙ. Да что вы. Ведь мой дебют состоялся в ваш бенефис!  
КОСИЦКАЯ. Так-то бы да, мой, конечно, но вызывали всех актёров.  
ОСТРОВСКИЙ. Авторитетнейшие умы назвали его историческим днём, когда родился театр, труппа, коллектив, сообщество… Н-да, мне есть, чем гордиться. И всё же вы, Любовь Павловна, вы сделали это.  
КОСИЦКАЯ. Ничего, «свои люди – сочтёмся».  
ОСТРОВСКИЙ. Смешно. Я вам не просто благодарен. Разве можно быть просто благодарным родителям за твоё рождение, а рукам и ногам, с головою, за то, что они выросли. Нет, ты жив, благодаря им, и потому ты ими живёшь. Я живу вами.  
КОСИЦКАЯ. Я рада. Признательна. Но, Александр Николаевич, на всякий случай, позвольте представиться: раба Божия Любовь!  
ОСТРОВСКИЙ. Раба Божия Любовь. Как же! Любовь – да, Божия – несомненно, но чтоб раба!!! Как бы не так. Царица. Богиня.  
КОСИЦКАЯ. Ох, Александр… Ваш дебют просто был под запретом, что поделать, но все знали, кто вы, что вы, о вас не просто говорили, но писали тот же Гоголь, Гончаров Иван Александрович. А профессор Шевырёв ещё бог знает когда до того поздравил народ с появлением нового драматического светила в русской литературе!  
ОСТРОВСКИЙ.  Да, в сорок седьмом. Но я не про то и не о себе. О вас, Императрица!  
КОСИЦКАЯ. Да, я вас слушаю.  
ОСТРОВСКИЙ.  Вы говорили мне тогда о вашей истории с первым венчанием. Купец Салов. Как он заставил вас полюбить его, взял слово умолчать о тайном венчании. А сам подкупил и священника, и свидетелей, даже записи в церковной книге не оказалось. А потом бежал в Саратов, вы – за ним, он – от вас. Так больше и не повидались с подлецом. Потом ребёнок, которого вы, знаменитая артистка, отдали какой-то бабке…  
КОСИЦКАЯ. О ребёнке ни слова не было.  
ОСТРОВСКИЙ. Но была, как люди говорили, некая болезнь, неизвестного названия.  
КОСИЦКАЯ. Болезнь была. А ребёнка знаменитой артистки вы сами выдумали. Небось, пьесу сочинили на мой счёт, шалун, дали волю фантазии?  
ОСТРОВСКИЙ. Небось, сочинил бы, да не пишу более, не желаю.  
КОСИЦКАЯ. Вспомнили! Бог с ним, с Саловым, выдумщик такой, сыграл на мне шутку. Водевиль, разве, что без куплетов и особенных коленец. Двенадцать лет тому. Давным-давно. Кроме вас рядом да Николая Васильевича во гробу, я тот день не помню. Особенно, что говорила. Что это вы, господин сочинитель, как ни заговорите, то всегда коллизия какая-нибудь получается. Лучше бы мы дальше молчали. Хотя с вами мне всё хорошо и верно, как с ангелом-хранителем. Я вас так люблю, как его. Вас мне Бог послал. И тогда, и сейчас, и всегда.  
ОСТРОВСКИЙ. А помните нашу беседу в Кремлёвском саду…  
КОСИЦКАЯ. Теперь это Александровский сад.  
ОСТРОВСКИЙ. Вы наконец-то рассказали о…  
КОСИЦКАЯ. Не надо. Пожалуйста, ни слова о театре.  
ОСТРОВСКИЙ. Да, да, согласен.  
КОСИЦКАЯ. Тем более, что ваше сочинение цензура не пропустила. А моя нынешняя цензура не приемлет ничего, что связано с театром.  
ОСТРОВСКИЙ. Мне всегда хорошо просто слушать вас. Но представить не мог, что молчать с вами тоже хорошо.  
КОСИЦКАЯ. С Кремлёвского сада уже шесть лет. Много всего, так много!..  
ОСТРОВСКИЙ. Так хорошо, что даже жить опять захотелось. Или вновь? Несильно, не яростно, как когда-то, и всё же жить. Я больше не пишу. Сочиняю по привычке, конечно, ум привык хлопотать, чтоб ремесло, наверное, не забывалось. Но не пишу. Не хочу.  
КОСИЦКАЯ. Я обожаю вас, Александр. Ведь вы останетесь? Я сегодня как раз перебралась в гостевой домик. Там есть комната и для вас. Нам ничто и никто не помешает, Саша.  
ОСТРОВСКИЙ. Люба, зоренька моя, как же мне тебя не хватало… столько лет порознь! Доченька твоя здесь, с тобой, я слышал, а как по-иному.  
КОСИЦКАЯ. Верочка. Седьмой годик уже, взрослая. Хорошо, что не приходиться, как её матери, в этом возрасте горбатиться на какого-нибудь просвещённого барина. Солнышко моё.  
ОСТРОВСКИЙ. Плоть от плоти, любовь от любви. Мои тоже всегда со мной. Дети здоровы, время от времени, как положено, побаливают, жена – наоборот. Венчаться уже не думаю. Родитель мой сначала так отрезал, что до сих пор черти при нём видятся, а после и жена сказала, мол, ни к чему, столько лет уже так-то. Бывает, не венчан, не любишь, бывает и не любил никогда, да семья - вот, но не уважать жену невозможно, ежели мужчина. (После долгой паузы.) Прости, Любовь… Павловна.  
КОСИЦКАЯ. У меня с этими купеческими сынками постоянный балаган по жизни. В Ярославль я тогда приехала служить. Город мне очень понравился, чистенький, театр каменный, прекрасный, и Волга моя, задушевная Волга! Там, в Ярославле, началась моя полная жизнь.  
ОСТРОВСКИЙ. На пятнадцатом году у девицы не без разных приключений…  
КОСИЦКАЯ. А я была такой ещё ребёнок, много не понимала самого простого и обыкновенного в жизни. В Ярославле меня полюбили окончательно все, и артисты, и публика.  
ОСТРОВСКИЙ. И тут начались ухаживания, преследования, нет?  
КОСИЦКАЯ. Да. Но я ещё всё-таки была ребёнком, не понимала ничего, только смеялась. Ухаживания делались серьёзными, и стало мне не на шутку досадно. Занималась я делом своим на сцене серьёзно, и никакому другому чувству не было места во мне. Тут стали мы собираться в Рыбинск на ярмарку, со всем театром. А на ярмарки собираются больше купеческие сынки да приказчики. И приехал туда один молодец, везде, мол, нет для меня ничего невозможного, что хочу, говорит, то и делаю. Начал он меня преследовать, просто проходу не даёт! Куда ни пойду, он уже там, беда, да и только. И предлагал мне большие деньги за любовь мою. И тем мне до того опротивел, что видеть его не могла. И решилась сказать, что я честная девушка, и себя продавать не намерена ни за какие сокровища! Он отвечал: «что за честь у актрисы!» Меня так поразили эти слова, что я горько заплакала и решила, уеду из провинции в Москву. Купчик понял, что оскорбил меня и на другой же день приехал просить у матушки руки моей, мол, готов жениться, лишь только загладить вину свою. Матушка сказала, что я уже невеста другого.  
ОСТРОВСКИЙ. Так и было?  
КОСИЦКАЯ. Да. Хороший человек, я любила его.  
ОСТРОВСКИЙ. А, не тот ли это актёр Степанов, который привёз вас в Москву и, по сути, разорив, бросил на произвол в гостинице?  
КОСИЦКАЯ (утвердительно кивнув). А я сказала купчику, что не могу быть его женою, и жениха моего ни на кого не променяю. Зачем я так доверчива, Господи! Того же Салова я не любила, он меня уговорил… выходил, вымолил… и я полюбила. Такая странная глупость. Чисто женское или только моё – не пойму. И нет времени разобраться, столько работы всегда… было. Теперь не так. Но я не об этом! Мы – не об этом. Не о том. Не бывает в жизни подлости, Саша, милый, бываем лишь мы, страстные глупыши, когда желания вымещают из нас разум.  
ОСТРОВСКИЙ (после молчания). Так что с купчиком?  
КОСИЦКАЯ. Уже спутала, с которым? А, да-да, как же, Рыбинская ярмарка. Он уехал очень грустный. И с того же вечера стал делать нам неприятности, и поклялся, если опять увидит меня когда-нибудь вместе со Степановым, то убьёт меня или его. Все смеялись над этим, но смех кончился очень нехорошо. Мы стали осторожнее. Степанов перестал провожать меня, а купчик нанял квартиру в кофейной против самого театра. Ярмарка кончилась. Один раз купчик приходит ко мне во время спектакля за кулисы и говорит: «Нет, не стерпеть мне этого, не достанься ты, моя лапочка, ни мне, ни злодею моему, прощайте!» И ушёл. Я кончила мою роль, переоделась, пошла домой одна, покрыла платочком, чтоб он не узнал меня. Ночь была светлая, тёплая, чудная. Иду по набережной и гляжу в воду; так мне было хорошо, играла я с успехом и душой моей благодарила Бога за его милосердие. Народу на набережной всегда много, я и не боялась, и шла покойно. Только я поравнялась с кофейной, - она от набережной была отделена широкой улицей, - вдруг раздался выстрел! И что-то так близко свистнуло от моего лба, что меня назад отшибло, и булькнуло в воду. Ноги у меня подкосились, я упала, но успела закричать. Народу сбежалось много. Тут и полиция нашлась. Мне сделалось дурно, добрые люди меня подняли и проводили домой.  
ОСТРОВСКИЙ. Могу представить, какие кассовые сборы пошли в театре после этого приключения.  
КОСИЦКАЯ. Тебе как будто меня не жалко?  
ОСТРОВСКИЙ. А зачем, ты же вот, жива, здорова, знаменита и ко мне относишься неплохо.  
КОСИЦКАЯ. Ты мудрец, Саша, и всегда прав.  
ОСТРОВСКИЙ. А финал-то, финал каков?  
КОСИЦКАЯ. Что было с матерью, передать трудно, она захворала и тут же решила оставить меня одну.  
ОСТРОВСКИЙ. На произвол судьбы.  
КОСИЦКАЯ. Вот-вот. Купчика взяли под арест, но он откупился, должно быть, и скоро уехал из Рыбинска. В ту же ярмарку мне дали бенефис, и я взяла шестьсот рублей.  
ОСТРОВСКИЙ. Ого, дебютанточка вы наша… ого. И что с такими деньгами сотворила?  
КОСИЦКАЯ. Я от них чуть с ума не сошла, думала, куда мне их деть. Придумала ехать в Москву, поискать там счастья.  
ОСТРОВСКИЙ. И нашла.  
КОСИЦКАЯ. На сцене – да.  
ОСТРОВСКИЙ. Мы же оба зарекались говорить о театре.  
КОСИЦКАЯ. Да.  
ОСТРОВСКИЙ. Мы же оба ушли из него.  
КОСИЦКАЯ. Да?  
ОСТРОВСКИЙ. Хорошо бы!  
КОСИЦКАЯ. Подумать, лучше, чем мы, вдвоём, вместе, не может быть на свете.  
ОСТРОВСКИЙ. И думать нечего: не может.  
КОСИЦКАЯ. Но не будет? Саша!  
ОСТРОВСКИЙ. Умоляю тебя…  
КОСИЦКАЯ. Поцелуй хоть раз.  
ОСТРОВСКИЙ. Раз? Ты же знаешь, что одного раза не хватит. И всей жизни уже не хватит. Пощади, Люба, не я тебе нужен, а я женат… дети…  
КОСИЦКАЯ. Не по дружбе, по-мужски! Поцелуй…  
ОСТРОВСКИЙ. Да что с тобой, мы знакомы тучу лет, и вдруг! Нет.  
КОСИЦКАЯ. Понимаю, твоей Агаше от тебя податься некуда, простолюдинка, без кола и двора, и все дети ваши умерли ещё в раннем возрасте…  
ОСТРОВСКИЙ. Не все. И звать её Агафья Ивановна.  
КОСИЦКАЯ. Защищаешь её. А она – тебя. Знаю, что лучше неё, жены и доброго товарища, ты себе найти не чаешь. Мы с ней дружим. Она из простых, а я вообще из крепостных. Я - раба.  
ОСТРОВСКИЙ. Достигшая царских высот.  
КОСИЦКАЯ. Не всем Бог дал быть такой актрисой, как я, чтоб подняться.  
ОСТРОВСКИЙ. Тебе одной, единственной, и дал.  
КОСИЦКАЯ. Раз она, что ж ты приехал ко мне!  
ОСТРОВСКИЙ. Мало ли, к кому едешь, важно, с кем живёшь.  
КОСИЦКАЯ. Но ты здесь в трудную минуту.  
ОСТРОВСКИЙ. В твою?  
КОСИЦКАЯ. В твою!  
ОСТРОВСКИЙ. В трудную минуту – да, но в трудный час – дома.  
КОСИЦКАЯ. Чёртов драматург.  
ОСТРОВСКИЙ. Ангельская актриса.  
КОСИЦКАЯ. Не смеши, такого быть не может, и нет. Я бываю жестокой. Особенно, когда знаю, как надо, а делается всё не так, или от жалости, или от общественного мнения, а ведь это не хорошо, не верно!  
ОСТРОВСКИЙ. Я всего лишь то, что есть. Вот… как-то так.  
КОСИЦКАЯ. И всё же останься сегодня, прошу!  
ОСТРОВСКИЙ. Да. С радостью.  
КОСИЦКАЯ. Слава Богу. И тебе – слава, друг мой единственный. Дивный.  
ОСТРОВСКИЙ. Пойдём, устроиться надо, да и с Борей Пинаевым не мешает поздоровкаться, всё же хозяин!  
КОСИЦКАЯ. Он сегодня только приехал из Европы, на водах что-то там лечил. Я ведь тоже с ним ещё не говорила толком. Пойдём. Борюсик, конечно, душка, и совсем разленился. С порога – бух на диван, и спит… (Уходит с Островским.)  
  
 Поодаль, из зарослей, выходит Наталия.  
  
НАТАЛИЯ (раздосадовано). Эх, ближе было не подойти, хоть послушать бы. И ведь даже не поцеловались.  
  
Неподалёку, из-за деревьев выглядывает  Федос.  
  
ФЕДОС. Старики, чего с них взять.  
НАТАЛИЯ (изумлённо). Эй!?  
ФЕДОС. Так вот, зачем ты за ними подглядывала, озабоченная…  
НАТАЛИЯ. Ты что такое, парнишка?  
ФЕДОС. А то, что тебе сейчас самой наяву сделает, что ты тут хотела поглядеть.  
НАТАЛИЯ. Ты за мной следил, что ль!?  
ФЕДОС. Давно, ещё с околицы за тобой пошёл, красавица.  
НАТАЛИЯ. И кто из нас озабоченный?  
ФЕДОС. Да оба. Для начала я тебя поцелую, и не смей даже думать противиться.  
НАТАЛИЯ. И не стану. Целуй.  
ФЕДОС (удивлённо). Чего?  
НАТАЛИЯ. Целуй, целуй. Чего рот раззявил.  
ФЕДОС. Удивляюсь, вот чего.  
НАТАЛИЯ. Обязательно надо рот разевать? Не прозевай, пока разрешаю.  
ФЕДОС. Ты меня обидеть норовишь? Унижаешь меня!  
НАТАЛИЯ. Трепло, не парень, другой уже давно показал бы, на что способен. Ну, будешь целовать или мне отсюда идти?  
ФЕДОС (злясь). Да я тебя целовать не стану, я с тобой другое сделаю.  
НАТАЛИЯ. Что?  
ФЕДОС. То.  
НАТАЛИЯ. А что то?  
ФЕДОС. Да всё, что надо! Что захочется!  
НАТАЛИЯ. Ишь, раскраснелся. Пугать только и можешь, а как до дела, так в кусты? Ну, так и ступай в свои кусты, малышок, опорожнись  со страху.  
ФЕДОС. Я… Да я тебя рапушу сейчас в пыль!  
НАТАЛИЯ . Ну-ну, давай, цуцик. (Начинает пляску-«бузу».)  
ФЕДОС. Кто! Я!? Э, ты чего делаешь… Тронулась? Танцует, чокнутая!  
НАТАЛИЯ (в плясе, то и дело толкает Федоса). Потанцуем!  
ФЕДОС. Ты чё толкаешь! И больно же!  
НАТАЛИЯ (в плясе поёт частушки). «Я не знаю, как у вас, А у нас, в Неаполе, Бабы во поле дают, И рожают на поле».  (Громче.) «Говорят, Адам и Ева Первый плод сорвали с древа. Мы с милёночком вдвоём Их всё рвём, и рвём, и рвём».  
ФЕДОС.  Девка, с ума спрыгнула? Хватит меня бить! Да что ж это такое…  
НАТАЛИЯ. «Меня милый первый раз На крыльце, на лесенке. А я встала, отряхнулась И запела песенки!» Буза, малышок, буза!  
ФЕДОС. Кто! Ты? Да откуда тебе знать боевой пляс, шмакодявка, деревенщина, пыль запечная! Больно как..! Ну, всё, хватит с тобой цацкаться, получай! (Замахивается.)  
НАТАЛИЯ (проведя боевой приём, валит Федоса на спину, усаживается на нём). Кто получил?  
ФЕДОС. Пусти!  
НАТАЛИЯ. Да ни за что. Теперь ты мой, что захочу, то и наворочу. Тятя научил: свободному человеку надо знать две вещи: арифметику и гимнастику, остальное приложиться. Приложиться, что ли… А целоваться, цуцик, надо так. (Целует Федоса.) Ну, как? Сомлел, малышок. Так-то. Полежи, очухайся, а мне некогда тут с детворой в куколки играть.  (Поднимается.)  
ФЕДОС. Стой…  
НАТАЛИЯ. Не тебе командовать.  
ФЕДОС. Ладно, да, да, только останься.  
НАТАЛИЯ. Зачем?  
ФЕДОС. Дальше, дальше хочу…  
НАТАЛИЯ. А дальше я не пускаю тех, кто мальше. Подрасти. (Уходит.)  
ФЕДОС. Да постой же… Боже ж ты мой, что ж такое было-то… Что-что, полюбила она меня, с первого же взгляда, наотмашь. И чья девка, Пинаева, что ли, судя по платью. Что ж я слепой или дурной, конечно, полюбила, просто гонор городской решила показать, мол, я – сверху, да бог с тобой, золотая рыбка, лишь бы на здоровье обоим. А там и с гонором разберёмся, не впервой. А вдруг ждёт, что побегу за ней? Так побегаем. След-то я беру крепко, всё беру, что берётся, а не берётся, просто заберём. Бузить удумала, мы тут сам-сусам! (Убегает вослед Наталии.)  
  
  
  
  
  
  
  
ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ  
  
СЦЕНА 3. Две недели спустя. Утро. Беседка. Пинаев располагается для отдыха. Мимо идёт Косицкая.  
  
КОСИЦКАЯ. Борис Михайлович! Никак наяву отдыхать навострился после трудного отдыха спанья.  
ПИНАЕВ. Вот точно устаю, как ты всё верно подмечаешь. Здравствуй, Люба. С мыслями и желаниями устаю биться один против всех. Подумать, вот что ж такое, который год езжу заграницу и всякий раз одно и то ж: в заграничном шезлонге о русском топчане мечтаю, а на топчане – о шезлонге… бред.  
КОСИЦКАЯ. И труд. Наталью мою на какие сегодня каторги задевал?  
ПИНАЕВ. Каторжанкой она стала добровольно, сам ужасаюсь, да ведь ей любо, Люба. И доченьке твоей, я так смотрю, тоже, а? Перестала по ночам кричать, на людей с претензией не кидается.  
КОСИЦКАЯ. Так нормальные люди вокруг, чего с ума сходить. Ох, как же чудно, что ты нас пригласил, Боря, вовек не забуду!  
ПИНАЕВ. Хорошо, не забывай, теперь буду жить покойно, будет, кому свечку поставить за упокой.  
КОСИЦКАЯ. Ой, перестань ты о смерти, что с тобой последние дни?  
ПИНАЕВ. Одиноко. Вот честно и откровенно, без экивоков: одиноко.  
КОСИЦКАЯ. Женись.  
ПИНАЕВ. Думал. Размышлял. Даже мыслил. Поздно. Нет, не по мужской линии, а чисто по возрастной. Многое могу, ещё более хотелось бы, но радости не будет. Не для себя, для супруги. Самому-то, конечно,  радости – полные штаны, как и детишкам, а вот супруге уже нет. Мне вздремнуть бы лишние пять минут, а ей повеселиться бы, мне на солнышке попариться бы, а ей – на луну попеть бы… Со мной взвоет. Ещё обернётся с тоски в какую нечисть. Всё, Косицкая, ну тебя, иди, куда шла, не морочь душу.  
КОСИЦКАЯ. И то. Но поговорить захочешь, вспомни, я – твоя.  
ПИНАЕВ. Да ни чья ты, госпожа артистка, ни одному человеку принадлежать не можешь. Даже самого Островского профукала, а какой замечательный шанс был.  
КОСИЦКАЯ. Не поняла?  
ПИНАЕВ. Сегодня лошадей просил, Наталия пошла распорядиться.  
КОСИЦКАЯ. Уезжает!?  
ПИНАЕВ. То-то и оно.  
 КОСИЦКАЯ. И мне не сказался!?  
ПИНАЕВ. Так и я про что.  
КОСИЦКАЯ. Когда?  
ПИНАЕВ. Ввечеру. Заночевать у брата хочет, в паре часов езды.  
КОСИЦКАЯ. У Михаила?  
ПИНАЕВ. Ну, да, он же министр, в повседневной жизни запросто не пересечёшься, а письмами сыт не будешь.  
КОСИЦКАЯ. Пойду на реку. На своём месте подышу.  
ПИНАЕВ. Не сомневайся, скажу Александру, ежели даже не спросит.  
КОСИЦКАЯ. Что!?  
ПИНАЕВ. Да спросит, конечно, не уедет же без прощания. Или вы повздорили?  
КОСИЦКАЯ. Да нет же, нет!  
  
Входит Наталия.  
  
НАТАЛИЯ. Тётенька, доброе утро!  
КОСИЦКАЯ. Ой, да вижу я, какое оно доброе. Всё добротою так и пышет. Здравствуй, Наташа, здравствуй. (Махнув, уходит.)  
ПИНАЕВ. Не обижайтесь, Любовь Павловна только что получила пренепреятнейшее известие, вот и бесится.  
НАТАЛИЯ. Из театра?  
ПИНАЕВ. Ну, где-то как-то можно и так сказать. Из меня. Я сообщил, что Островский уезжает.  
НАТАЛИЯ. Она не знала!?  
ПИНАЕВ. Да. А ничего конкретного за проведённое рядом время придумать, видимо, не вышло.  
НАТАЛИЯ. Не соблазнила драматурга на сочинение?  
ПИНАЕВ. Грубо говоря, думаю, да.  
НАТАЛИЯ. А я-то при чём!  
ПИНАЕВ. Ну, Наталья Сергеевна, не дуйтесь, как мышь на крупу, близким от близких всегда первым достаётся.  
НАТАЛИЯ. И больнее!  
ПИНАЕВ. Вам больно?  
НАТАЛИЯ. Ничего, не впервой. Да я телесную боль с младенчества труднее переношу. Как вспомню некоторые случаи, особенно под Саровым, так опять больнее боли делается. Да бог с ней, с Любовью Павловной и моими болячками. Насчёт лошадей я распорядилась. Фроська, кстати, опоросилась, пойдёте смотреть? Двенадцать штук принесла, все здоровы, кушают да хрюкают.  
ПИНАЕВ. Пчёлка вы наша…  
НАТАЛИЯ. Чего «пчёлка»-то?  
ПИНАЕВ. О, опять уже посмурнели! Какая же вы непосредственная. Пчёлка – в том смысле, что работяга. Неугомонная, спорая…  
НАТАЛИЯ. Простите, ежели суюсь не в свои оглобли, но…  
ПИНАЕВ. Да бог с вами! На здоровье!  
НАТАЛИЯ. Но нельзя мне бездельничать. Природа моя ленивая, чуть застоишься – всё, на боковую и гори всё синим пламенем, Наташка отдыхает!  
ПИНАЕВ. Боитесь, как я, сделаться, толстой и сонной?  
НАТАЛИЯ. Вы не сонный, а толщина вам к лицу, мне – нет.  
ПИНАЕВ. Верно, верно, не надо, как я. Да у вас и ремесло таково, что надо быть лёгкой и звонкой.  
НАТАЛИЯ. Знали бы вы, Борис Михайлович, как мне надоело это самое ремесло. Я ведь его не выбирала, тятя сговорился с тётей Любой, чтобы меня из глухомани вытащить, поближе к лучшей жизни, к высшему обществу. А мне-то оно, на самом деле, надо ли? Нет, не надо. Я деревню обожаю, хозяйствовать не возражаю, покуда силы есть. Рожать вот тоже надо, но не на театре же, за пыльными кулисами. На то пошло ежели, мне первых ролей не видать, да и вторые – мои лишь до поры, покуда Любовь Павловна на царстве. А её опять задвигают. Так оно нервирует, покоя хочется. Тишины, сада с огородом, речки…  
ПИНАЕВ. Как же мне любо слушать вас, Наталия Сергеевна, кажется, что это мои мечты вдруг зазвучали вашим дивным голосом.  
НАТАЛИЯ. Вы про сад с огородом?  
ПИНАЕВ. И про детишек… ваших…  
НАТАЛИЯ. Ежели вы, дорогой мой Борис Михайлович, хотите о чём-то спросить, но боитесь, спрашивайте, я отвечу.  
ПИНАЕВ. Боюсь. Очень боюсь, Наташа…  
НАТАЛИЯ. О чём же…  
ПИНАЕВ. О чём? О чём… Вот вы упомянули, было, что-то про случай под Саровым. Вам там было больно. Я так испугался вдруг за вас. Развейте страхи, расскажите.  
НАТАЛИЯ. Пожалуй. А не лучше ли в другой раз? Мне ещё проследить надо за прополкой картофеля, в этом году ботва буйная, а клубни мелочь одна. Люди говорят, сорт поменять надо.  
ПИНАЕВ. Наталия! Мы же, с вами, помещики, имеем право на собственное время препровождение в полном объёме, управятся без вас, тяпки, что ли, им подносить, не маленькие…  
НАТАЛИЯ. Мы?  
ПИНАЕВ. Что «мы»?  
НАТАЛИЯ. Вы сказала «мы, с вами, помещики»…  
ПИНАЕВ. Так и сказал?  
НАТАЛИЯ. Точно так.  
ПИНАЕВ. Ну, по сути-то я верно выразился. Так складывается как-то… у нас… Верно, приходит момент чего-то такого… для меня. Да…  
НАТАЛИЯ. Да?  
ПИНАЕВ. Да… так что там с лошадью в Сарове приключилось!  
НАТАЛИЯ. С лошадьми. В обители отстояли мы заутреню, были и у обедни, отслужили молебен чудотворному образу и панафиду отцу Серафиму. После обеда мы ещё раз поклонились святому угоднику и отправились в путь. Было воскресенье. Только что проехали лес, от него дорога шла волоком к большому селению, что раскинулся аж на двух горах. Посредине – глубокий ров. При въезде в село идёт крутая гора, от самых ворот до мостика через ров. Лошади заиграли. Кучер сдерживал, но они заупрямились. Кучер собрал силы, чтобы остановить их, и вдруг у коренной лопнула вожжа, и лошади понесли нас!.. да не попали в ворота, одним боком въехали в столб, экипаж опрокинулся набок.  
ПИНАЕВ. Господи!.. и что ж?  
НАТАЛИЯ. Кто как мог, так и повалился. Меня и старуху, мы с ней заутреню стояли, тащило по столу. Мужики увидали, на всём бегу остановили лошадей. Не будь праздника, отслужили бы по нам панафиды.  
ПИНАЕВ. Бог вас хранит, судя по нынешнему дню. Но ведь легко не отделались?  
НАТАЛИЯ. Кучер был ушиблен сильно, и умер через месяц. Старуха ногу сломала. А я оставила всю кожу со спины на дороге.  
ПИНАЕВ. Ох!..  
НАТАЛИЯ. Не чувствовала ничего, вскочила, побежала к сестре; она сидела посреди дороги с ребёнком на руках. Из господского дома выбежали люди. Тут уже не помню ничего, знаю, что как они налили мне воды с вином на спину, чтобы размыть, так я и покатилась замертво.  
ПИНАЕВ. Ой-ё-ёй!!!  
НАТАЛИЯ. Не помню, как мы приехали к знакомому помещику, как положили в постель. Долго не могла я спать ни на боку, ни на спине, спала, положив голову на руки, да к стенке прижмусь – так и усну. Помещик вечером пришёл навестить и так посмотрел на меня, что стал он мне гадок, я попросила его уйти. Он прислал мне девушку, чтобы ночевала со мной. Девушка пришла с красными от слёз глазами. Я ничего не могла спросить у ней, о чём плачет, сама страдала ужасно. Я о себе заговорила: дай, говорю, мне, милая, водицы выпить, тебя как зовут? «Парашей». Дала воды. Вот, говорю, милая Параша, как я изранена, вот – пожалуй, кожа у меня другая не вырастет! «Нет, барышня, вырастет, а вот у нас так знать радостей-то не вырастет!» и опять заплакала. Разве тебе, Параша, не хорошо здесь жить? Милая, что это ты так плачешь, полно! «Ах, барышня, Бог от нас отступился, вот что!» Ах, Параша, грех так говорить, Бог ни от кого не отступается. Коли тебе скучно, ты лучше помолись; это на тебя искушение нашло. «Нет, барышня-матушка! Так тяжело, иной раз руки бы на себя наложила, да тоже Бога боишься! Вот мы мученицы просто! Ведь барин-то наш хуже пса какого! Злодей он, ему и на каторге нет места, развратник! Теперь нас у него десять девок; возьмёт от отца и матери, станет грамоте учить, чтобы, вишь ты, на киятре играть разные штуки, а сам их девок-то всю кровь выпьет, а потом замуж отдаст за какого постылого мужика. Теперь и девок-то, почитай, ни одной нет во всей деревне, кроме маленьких. Намедни пришла Настасья с женихом, чтобы повенчать велел, просятся. Нельзя теперь, говорит; Настасья хорошенькая; ей, говорит, надо ещё поучиться, а ты, говорит мужику-то, и не думай о ней; так тот и пошёл, а она хочет в реку броситься. Не буду, говорит, у него учиться, вот что. Вот, Липку прогнал, и помучилась она, не хочу, говорит, я у вас, барин, жить, хоть живую в землю закопайте. Побился, побился, да и прогнал, иди, говорит, куда знаешь, только не смей у меня в деревне жить! Пропала куда-то, ни слуху ни духу нет. Отцы-то с матерями плачут, плачут, просят, чтобы он не брал нас, а он ещё нарочно поскорей возьмёт. Подержит, подержит, да за какого ни на есть мужика и отдаст. Аксюшку муж-то в гроб заколотил, ты, говорит, барская наложница, так и жила бы с ним! Да так-то многих. Мужики жаловаться на него ходили, так он им же сказал: не велите девкам своим виснуть ко мне на шею! Да мужиков-то всех передрал, чтобы впредь не жаловался. Да, матушка-барыня, я хоть и сиротинка, да жаль очень себя-то, сколько раз утопиться хотела, да нешто легче будет? И душу-то загубишь, а уж как невыносно, что и сказать нельзя».  
ПИНАЕВ. Вам дурно?  
НАТАЛИЯ. Да душно становится, как вспоминаю, кожа на спине горит; не возражаете, ежели я ворот расстегну?  
ПИНАЕВ. Да конечно же, мы же свои! Может, не надо продолжать рассказывать?  
НАТАЛИЯ (расстегнув ворот). Нет-нет, я должна, нельзя мне в себе держать, разорвёт нутро.  
ПИНАЕВ. Да-да, я весь ваш, слушаю, слушаю… А шея-то ваша такая… лебединая… ворот – как ошейник… Как же это всё дико, что вы рассказываете! И ведь повсеместно, уж поверьте, мне ли не слышать такое.  
НАТАЛИЯ. Опять Параша заплакала. Мне стало так жаль её, что и я заплакала тоже. «И мужики-то и дворовые все намучены, - продолжала она, - и на охоту, и в киатре играть; все, какие есть, молимся Богу-то, чтоб скорей издох, да не издыхает!»  
ПИНАЕВ. Вот же, как люди – мы - людей изводим, и всё на каких-то чертей с сатаной киваем.  
НАТАЛИЯ. Так меня эта девушка опечалила своим рассказом о своём барине, что и земля-то мне показалась кровяною в этой деревне.  
  
Из-за деревьев выходит Островский.  
  
ОСТРОВСКИЙ. Ничего, говорят, проклятое рабство в России скоро отменят, государь Александр Второй всерьёз за это праведное дело взялся.  
НАТАЛИЯ. Ох, вы!?  
ПИНАЕВ. Островский!? И давно ты здесь?  
ОСТРОВСКИЙ. Я думал, вы меня видели ещё на подходе. Да что не так-то? Я не таился, стоял на виду…  
НАТАЛИЯ. Боже, я же вся расхристана! Позор какой! (Убегает.)  
ОСТРОВСКИЙ. Ого! Вот уж неожиданность! Подумать не мог, что могу так смутить.  
ПИНАЕВ. Да уж, Наташа так сегодня раскрылась, для меня она сегодня просто тоже потрясение. Пустячок – расстёгнутый ворот, а для неё позор! Какая целомудренность, согласись, Островский!  
ОСТРОВСКИЙ. Между вами что-то происходит? Нет, не говори, не надо…  
ПИНАЕВ. Саня, хоть убей, я в полной прострации, чтобы что-то объяснить. Она-то мне по сердцу, не скрою, но кажется, что я ей тоже интересен, да?  
ОСТРОВСКИЙ. Я тебя умоляю, не заманивай меня в амурные подельники, а-то останусь потом крайним, не надо, уже попадал, сами разбирайтесь, Боря, я пойду. Не знаешь, где Косицкая?  
ПИНАЕВ. Убежала же…  
ОСТРОВСКИЙ. Очнись! Я не про племянницу, про Любовь Павловну спросил.  
ПИНАЕВ. А, да… Да, проходила здесь.  
ОСТРОВСКИЙ. На реку пошла?  
ПИНАЕВ. А, да… Да, пошла.  
ОСТРОВСКИЙ. Надо попрощаться. Пойду.  
ПИНАЕВ. Шура, будь мужчиной, ради нашей древней дружбы, помоги!  
ОСТРОВСКИЙ. Боря, я тебе благодарен за гостеприимство…  
ПИНАЕВ. Я тебя не в наперсники зову! Мне же решительные мысли нужно воплощать, или смирить себя, согнуть, сломать даже. Я не юноша, и не ханжа, ты знаешь. Просто скажи, со стороны кажется, что Наташа ко мне неравнодушна? Или не кажется?  
ОСТРОВСКИЙ (на ходу). Ох, Борис Михайлович, ну, ты зануда. Кажется, да, кажется! (Уходит.)  
ПИНАЕВ. Ага!? Ага! Ага… Как это она спохватилась-то, мол, я вся расхристана!.. Невинность, вот просто образец самой что ни на есть невинности. Пожалуй… пожалуй. А что… А что? А что!? Почему нет? Почему нет! Почему нет… Усталость меня так и морит… изморила. Перед любым решением взрослому мужчине следует поспать, потом покушать… Ещё поспать, и уже утром, покушав, приниматься за размышление. А там уж и решение принимать какое-то… когда-то там. Я, говорит, вся расхристана!..  ах, ты ж, лапуля… Спаси и сохрани, Господи, раба твоего Пинаева… только не пинай… я же сплю. (Засыпает.)  
  
  
СЦЕНА 4. Косицкая на берегу, глядится в себя и поёт.  
На улице дождик,  
с ведра поливает,  
С ведра поливает,  
землю прибивает.  
Землю прибивает,  
брат сестру качает,  
Ой люшеньки, люли,  
брат сестру качает.  
Брат сестру качает,  
ещё величает,  
Сестрица родная,  
Расти поскорее,  
Расти поскорее,  
да будь поумнее,  
Ой, люшеньки, люли,  
да будь поумнее.  
Вырастешь большая,  
отдадут тя замуж.  
Ой, люшеньки, люли,  
отдадут тя замуж.  
Отдадут тебя замуж  
во чужу деревню,  
Во чужу деревню,  
в семью несогласну.  
Ой, люшеньки, люли,  
в семью несогласну.  
На улице дождик,  
с ведра поливает,  
С ведра поливает,  
землю прибивает.  
Землю прибивает,  
брат сестру качает.  
  
Входит Островский.  
  
ОСТРОВСКИЙ. Люба… В драме-то равных нет, а голос - с ума сводишь. Как тебе с таким даром позволили сменить оперу на драму, удивительно. Счастье. Но что ещё поразительнее, совпадение: случайно услышал рассказ твоей племянницы Борису Пинаеву, о том, как она чуть не погибла, когда возвращалась с богомолья в Саровскую пустынь, но главное о крепостной Параше, которая поведала о том, как бесчинствует их барин, просто зверь какой-то, бессовестный. Впрочем, Боря прав, таких помещиков в России много, они ни в грош не ставят жизнь подневольных крестьян, потому только, что не видят в них людей. А ведь должны были бы наоборот, охранять их, заботиться о них, ведь они есть их, прости, Господи, собственность! И перед Богом все мы – его дети, и в ответе не только за себя, но и за ближнего. Да простое умозаключение, что хозяину выгоднее иметь здорового весёлого работника, чем угнетённого раба , которому ненавистна и работа, и работодатель. Чёрт побери, однажды тебя, такого угнетателя, могут и на вилы поднять!.. и ладно тебя, но ведь и всю семью твою, и род твой прервётся. Из-за чего – из-за гордыни, гнева… из-за тех грехов, о которых ты с колыбели знаешь, что они смертные и пощады не будет уже во веки веков! Или Бога не бояться, или не веруют. Но Бог-то ведь есть, даже если тебе того не хочется. И тут – ты, с песней. Колыбельная, да? Какие страшные колыбельные слагает русский народ, какие беспросветные. Прости, Любовь Павловна, что тебе первой не сообщил решение моё об отъезде, так вышло. Мне просто пришла пора возвращаться к жизни, ведь уже конец июля, а всё – туман. Прости.   
КОСИЦКАЯ. Мы были дворовые крепостные люди одного господина, которого народ звал собакою. Мы, дети, боялись одного его имени, в сам он был воплощением страха. Помню страшные казни, помню стоны наказуемых, они до сих пор ещё звучат во мне! Боже мой! Когда он, бывало, выходил из дому гулять по имению, дети прятались от страха под ворота, под лавки, а кто не успевал, тот непременно бывал бит. Он признавал, что он не сыт, когда не намучит кого-нибудь, и ему обед не в обед. Жена его и дети не смели быть добрыми, если б и хотели. Они были изнурены муками других. У помещика того были ещё три брата и один одного лучше: первого из них крестьяне распяли, другого убили; этот был ещё всех добрее и умер своей смертью. Со временем, мы перешли в другие руки, и, можно сказать, попали из ада в рай. Прежнего же барина постиг гнев Божий; на него все восстали, и люди, и судьба. Семейство его совсем почти стёрлось с лица земли, они все кончили жизнь свою в бедности и нуждах. Новый барин человек был добрый, прекрасный, любимый и уважаемый всеми. Да вот новая госпожа оказалась, нельзя сказать, чтобы добрая. Когда она, бывало, выйдет в девичью, то земля дрожит и всё падает ниц. Через девичью она проходила в спальню старшей дочери. Та была истинно красавица и верный портрет своей матушки. Сама занималась хозяйством, ходила с кнутом по двору, била слуг за вину и без вины, от скуки, что ли, не знаю, дралась кастрюлями и всем, что ни попадало под руку. У ней был заведён порядок такого рода: женщина, имеющая грудных детей, отпускалась из горницы два раза в день на полчаса, во время обеда и ужина; в это время она должна сама поесть и дитя покормить, на ночь все отпускались по домам. Дети были не живучи в этом доме: кто сгорит, кто обварится, кто убьётся до смерти. Было дело, я, на седьмом году, разумеется, не отличалась ни благочестием, ни умом: взяла две конфеты, одну себе, другую братьям, смотрю на их картиночки и занялась ими так, что не видала, как передо мной оказалась госпожа. Я заплакала, пала на колени… Она усмехнулась, схватила меня обеими руками за голову и вышвырнула в дверь. Ударилась головой о стену. Она била меня до того, что я потеряла память и потому не знаю, сколько и как долго она наслаждалась моими мучениями. Меня отнесли домой полумёртвою… целую неделю из ушей текла кровь. Варварка любила свою дочь и передала ей всё злое, что могла. Горничная, когда шла чесать ей голову, всегда на коленях молилась, чтобы Господь смягчил её сердце, и возвращалась всегда с руками, исщипанными в кровь и с распухшими щеками. Господи, как эта барышня была зла! Она не могла пройти мимо девочки, чтобы не выдернуть у неё клочок волос или до крови ущипнуть. Потом нас выкупил добрейший человек, в Балахну. Мы приехали на лодке по Волге. Я спала всю ночь так крепко, что и не слыхала, как мы проехали весь путь. Высадились на берегу, покрытом кустарником; он мне так понравился, мне стало весело, и я запела. (Поёт.) «Что на свете прежестоком Прежестокая любовь! Оставляет-покидает Здесь в несчастной стороне»… Эту песню тогда все пели. Матушка ударила меня по затылку и сказала: «дура! Лучше бы сотворила молитву!» Я перекрестилась, а отец сказал: «вот тебе и песня, ишь распелась певица!» А, может, так и следовало бы сделать, надавать по затылку мечтам и до гробовой доски молиться, молиться. И более ничего.  
ОСТРОВСКИЙ. Понимаю, чего ты от меня ждёшь, что тебя угнетает. Но не убьёт, нет. Я просто не могу. Даже подумать не в силах, чтобы взяться за новую пьесу для тебя и только для тебя. Даже придумать её не могу, а уж это-то не самое трудное для серьёзного ремесленника. Да и не хочу. Мой брат – министр, а я? Весь завишу от гонораров, и никогда не хватает, и не всегда бывает.  Мне нужно сменить ремесло. Начаться заново. И в театре бывать, как искушённый театрал… Ну, то есть вообще не бывать.  
  
Входит Наталия, за ней, отстав, идёт Федос, с конвертом в руке.  
  
НАТАЛИЯ (издалека). Тётя Люба, мы подойдём или обождать?  
КОСИЦКАЯ. Кто там с ней…  
ОСТРОВСКИЙ. Я обожду.  
КОСИЦКАЯ (махнув призывно Наталии). Иди сюда, Наташа! Нет, Александр, ты убиваешь. Островский, чёрт возьми, причём здесь пьеса! Ты любовь убиваешь!.. любовь.  
НАТАЛИЯ. Александр Николаевич, лошади готовы. Просим вас покушать перед отъездом.  
ОСТРОВСКИЙ. Благодарю.  
КОСИЦКАЯ (Федосу). Вы ко мне?  
ФЕДОС (смущённо). А… да… вот.  
КОСИЦКАЯ. Что?  
ФЕДОС. Как сказать правильно…  
НАТАЛИЯ. Это сын купца Соколова, соседа Бориса Михайловича. Он принёс приглашение тебе, лично, на завтрашний праздник у них.  
ФЕДОС. Мамкин день рожденья. Вот.  
НАТАЛИЯ. Что – вот?  
ФЕДОС. Что?  
НАТАЛИЯ. Приглашение-то отдашь, нет?  
ФЕДОС. Да! (Подаёт конверт Косицкой.) Приглашаем очень! Маменька говорит, умоляет даже, они с папашей вас любят страшно…  
КОСИЦКАЯ. Вот как? (Принимает конверт.) Благодарю. Не уходите, пожалуйста, мне надо сделать вам несколько вопросов, чтобы определиться, хорошо?  
ФЕДОС. Чего?  
НАТАЛИЯ. Стой, никуда не уходи, покуда не спросят.  
КОСИЦКАЯ. Вы знакомы прежде?  
НАТАЛИЯ. Да.  
ОСТРОВСКИЙ. Любовь Павловна, мы же в первый день ещё решили наши отношения…  
КОСИЦКАЯ. Мы не решили. Вы их просто не захотели.  
ОСТРОВСКИЙ. Прощайте?  
КОСИЦКАЯ. В Москве, думаю, нам быть встретиться непременно, когда всё у вас прояснится. Я-то ведь никуда не денусь, мне ремесло не сменить, и моё амплуа, покуда я жива, никому не забрать. Другое дело, что русской артистке без русского репертуара, что жива она, что нет – роли не играет. Добрый путь.  
ФЕДОС. Гроза надвигается, торопитесь, к вечере точно грянет.  
ОСТРОВСКИЙ. Прощайте. (Уходит.)  
ФЕДОС. Ага, до свиданьица.  
КОСИЦКАЯ. Юноша, дайте нам, с племянницей, несколько минут.  
ФЕДОС. У меня нету…  
КОСИЦКАЯ. Чего?  
ФЕДОС. Что вы просите.  
КОСИЦКАЯ (улыбаясь). Что с вами? Вы, кажется, смущены?  
ФЕДОС. Да нет, куда там. Что?  
НАТАЛИЯ. Федос, просто отойди на несколько шагов, дай Любови Павловне сказать мне что-то.  
ФЕДОС. А… ну, так это легко. А в какую сторону?  
НАТАЛИЯ. Что?  
ФЕДОС. Шагать куда?  
НАТАЛИЯ. Да хоть куда!  
КОСИЦКАЯ. Такой милый…  
ФЕДОС. Я?  
НАТАЛИЯ. Да ты, ты! Иди уже.  
ФЕДОС. А вы-то какая милая, тётенька… Любовь Павловна! Я так близко живую артистку никогда не видел, тут какое-то просто ликование во мне рвётся, а нельзя. Я же вас видел в Малом театре и трижды в Большом! Отец объяснил, что дирекция – не дура, по боле зал предоставляют, когда публика любые деньги за артиста приносит. А было француженку знаменитую Рашель – в Малый, а вас – в Большой, а на неё всё равно почти никто не пошёл, все к вам рвались попасть, лично, и пусть уж к вам не попасть, чем идти к Рашель. Я помню. Просто что-то самозабвенное такое там было, и потом. А тут предки говорят, иди, Федос, отнеси приглашение самой главной артистке Императорских московских театров самой Любови Павловне госпоже Никулиной-Косицкой! А вы для меня и без того упоительный фурор!  
НАТАЛИЯ (смеясь). Федос, ступай вон туда, пожалуйста.  
ФЕДОС. Смеётесь, а побыли бы в моей шкуре сейчас… (Идёт в сторону.)  
КОСИЦКАЯ. Давно знакомы?  
НАТАЛИЯ. Несколько недель.  
КОСИЦКАЯ. Он побаивается тебя, мне не показалось?  
НАТАЛИЯ. Пришлось, при знакомстве, сплясать бузу.  
КОСИЦКАЯ. Вон оно что.  
ФЕДОС (в отдалении). Здесь постоять или дальше?  
НАТАЛИЯ. Всё-всё, стой там!  
КОСИЦКАЯ. Зачем ты присвоила мою Саровскую историю с Парашей?  
НАТАЛИЯ. Сдал Островский. Хотела произвести впечатление на Бориса Михайловича.  
КОСИЦКАЯ. Для чего?  
НАТАЛИЯ. Тётя Люба, я взрослая, и мне пришла пора решать мою судьбу.  
КОСИЦКАЯ. Хваткая. А как же театр?  
НАТАЛИЯ. Зачем мне то, что я не люблю. Тятя хотел, чтобы я вырвалась из захолустья, потому тебя уговорил пристроить меня в театральную школу.  
КОСИЦКАЯ. Знаю, но мне казалось, что тебе нравится. И у тебя получается, и ты можешь взрасти…  
НАТАЛИЯ. Могу, да не хочу! Будь у его сестры другое ремесло или семейное положение, тятя всё равно умолил бы её взять меня в Москву или в столицу, или в Нижний, ты же понимаешь.  
КОСИЦКАЯ. Но почему Пинаев!?  
НАТАЛИЯ. Стать супругой дворянина, да ещё и состоятельного помещика, мне, дочери бывшего крепостного, - это ли не венец судьбы! Да ещё и бесприданница. А Борис Михайлович ещё и хороший, честный. И не говори, что стар, я знаю. Лучше старик, чем юный подлец, лучше душа, чем молодой разгуляй, лучше господский покой в деревне, чем шикарный выезд в большом городе. А про театр я даже не думаю и не помню. Тётя Люба, мне нужна надёжность, а не надежда. Благослови!  
КОСИЦКАЯ. Там видно будет. Я побуду здесь ещё немного одна, а ты, пожалуйста, напои чаем купчика, мне действительно нужно справиться, стоит ли принимать приглашение.  
НАТАЛИЯ. Конечно. Тётушка, ты же умница…  
КОСИЦКАЯ. Да, чуть не забыла, Пинаев уже слышал Саровскую историю от меня.  
НАТАЛИЯ (впечатлена). Вот так, да!? О… как… Что ж, если не перебил, не уличил, значит, любит. Впрочем, проснётся лежебока, посмотрим, как оно всё образуется. Так мы пойдём, с Федосом?  
КОСИЦКАЯ. Да.  
НАТАЛИЯ. Расстались с Островским?  
КОСИЦКАЯ. С Островским – нет, а вот с Александром… с Сашей, похоже, да.  
НАТАЛИЯ. Любишь?  
КОСИЦКАЯ. Страдаю.  
НАТАЛЬЯ (на ходу). Федос! Пошли за мной, нам - в усадьбу!  
ФЕДОС. Ага. Ага… Я что-то ещё сказать должен?  
НАТАЛЬЯ. Довольно.  
ФЕДОС (на ходу). Так хорошо, что тётенька довольна!  
НАТАЛЬЯ. Да какая она тебе тётенька, чурбан, она же артистка, Любовь Косицкая! (Уходит с Федосом.)  
КОСИЦКАЯ. Господи, что ж мне так не везёт в любви-то. Зачем мне дано имя Любовь, как сглазили. Люби Бога и молись, молись, молись… раба Божия Любовь.  
  
Входит Островский.  
  
ОСТРОВСКИЙ. Люба. Я вернулся. За одним поцелуем.  
КОСИЦКАЯ. Слава Богу!.. Идём, я знаю, где нам будет лучше целоваться. Не бойся, Шура, где есть любовь там нету преступленья.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ (1863 год)  
  
СЦЕНА 5. Апрель. День. В гостиной дома Пинаева Наталия, в неглиже, внимательно осматривает обстановку и, глянув в окно, торопится устроиться на диване, будто бы спит.  
  
НАТАЛИЯ. Идёт. Принёс ретивый чёрт, а, главное, вовремя. И тихо у меня, чтоб как на кладбище! Цыц! Ни звука! Тишина…  
  
Входит Пинаев, в дорожных одеждах.  
  
ПИНАЕВ (шёпотом). И спит ведь… Точно спит. Неожиданно.  
НАТАЛИЯ. Отчего же?  
ПИНАЕВ. Посреди дня.  
НАТАЛИЯ. Ты спишь сутками.  
ПИНАЕВ. У меня такая природа, что уж тут.  
НАТАЛИЯ. С возвращением, дорогой супруг.  
ПИНАЕВ. Здравствуй, светик. Целовать не стану, с дороги, ещё снега полно, что за апрель такой в наших краях, нарочно, чтобы ни урожая, ни просто покушать, как бы по миру не пойти.  
НАТАЛИЯ. Ничего, думаю, не пойдём, зря, что ли, журналы выписываем. Я распорядилась устроить у нас по науке, надеюсь, выйдем по нулям, хотя плюсов в этом году точно ждать не придётся. Опять твоя Швейцария отменится.  
ПИНАЕВ. Да Бог с ней, уже не вспомню, есть ли она на самом деле, с нашего венчания ни разу не выехал не то, что за границу, в Москве-то бываю время от времени. Любовь Павловна ещё у нас?  
НАТАЛИЯ. Послезавтра хочет ехать, как раз к спектаклю. Их у неё теперь почти нет.  
ПИНАЕВ. Меня не отсутствие Швейцарии удручает, а то, что даже до дивана добраться скоро станет невозможным, досуга не будет. Удивительное дело, провели прогрессивную реформу, а стало хуже во сто крат. Никто не знает, как жить без крепостного права, вообще никто. Одни догадки. В рабстве всем было удобно, ясно и понятно. Помнится, тётка твоя рассказывала, что её брат родной, один из твоих дядей, от свободной жизни назад в крепость попросился.  
НАТАЛИЯ. Было. Теперь миллионы свободных просятся обратно, в рабство, где насилуют и гробят раньше времени, зато исправно подана плошка супа да пайка хлеба. Наши, с тобой, крепостные, как один, остались.  
ПИНАЕВ. Из-за моей доброты и понимания. И твоего разумного хозяйствования. Правильные хозяева говорят, мол, надо дворянству купечеством заниматься, да не по чуть-чуть, в зависимости от времени года, а всерьёз и надолго.  
НАТАЛИЯ. А я тебе, что талдычу уже третий год? И купечество тоже, замечу, прошедший день, завтра ему тоже каюк, особенно в России. Я выписала журналы по финансам, понимаешь? И французские, и немецкие. А заодно самоучители по английскому языку, там, я так поняла, основные мысли будущего мироустройства гнездятся. Лучше живого англичанина выписать. Банковские премудрости следует постигать со знанием языка. Это вам не Шекспира по-русски лепить, финансы - это реальная жизнь, а не байки про любовь.  
ПИНАЕВ. Зачем же вы такою злюкою стали, Наталия Сергеевна…  
НАТАЛИЯ. А как прикажете быть в нашем мире, Борис Михайлович! Нельзя сегодня быть добродушным, особенно честным, проку не будет. Или выйдет как у вашего разлюбезного Островского, итальянский зачем-то знает, а с английского, чтоб Шекспира сварганить на хлеб насущный, просит подстрочник, да у кого – у памфлетиста Щербины! Даром, что кормил того да кровом делился. И что за ответ? Клевета о плагиате. Травля в печати. И, конечно, памфлет! Клеймо на всю жизнь:  
«Со взглядом пьяным, взглядом узким,  
Приобретенным в погребу,  
Себя зовет Шекспиром русским  
Гостинодворский Коцебу».  
ПИНАЕВ. Финансы? Не понимаю.  
НАТАЛИЯ. В финансисты надо метить, не самим, так детям.  
ПИНАЕВ. Да-да, ты у меня умница-разумница, недооценивал, каюсь. Что ж, поставим тебя впереди, будешь головой нашего семейного предприятия по спасению из беспросветного ада современности.  
НАТАЛИЯ. Иди уже, переоденься, я распоряжусь завтраком, ещё наговоримся.  
ПИНАЕВ. Да, да… Любовь... Любовь… Потрясающая метаморфоза. Триумф «Грозы», высшая артистическая ставка в шестидесятом – просто апофеоз, и фиаско к нынешнему, шестьдесят третьему; всего-то три неполных года, и она уже не только, что не царица, но почти ноль.  
НАТАЛИЯ. Ерунда, опять поднимется, не впервой.  
ПИНАЕВ. Сказывала тебе тётушка, что у них с Александром?  
НАТАЛИЯ. С каким?  
ПИНАЕВ. С Александром Николаевичем, конечно. И не с Романовым, а с Островским, что ты играешься в простушку при таких делах!  
НАТАЛИЯ. Не кричи на меня. С Островским у них ничего, говорит, что сильно переписываются, хоть роман эпистолярный издавай, потомкам для поучений.  
ПИНАЕВ. А я слышал, что стали они близки чрезвычайно. После премьеры «Грозы», триумф-то какой был, весь театр собрался на банкет, с начальством, а главной актрисы с драматургом – нету, куда-то уединились.  
НАТАЛИЯ. Когда это было! Четыре года тому!  
ПИНАЕВ. Не кричи на меня.  
НАТАЛИЯ. Ну, покуражились над народом, полюбились, а что на выхлопе? Обиды. С тех пор и тётя пошла под гору, и Александр Николаевич без всех денег, что могли бы быть, «Грозу»-то в афишу не ставят. И пусть хоть трижды гениально, хоть семижды эпохально – толку-то! Нельзя обижать даже вошку, если она тебя не кусает.  
ПИНАЕВ. Но почему!? Почему великая артистка не может просто радовать народ счастьем катарсиса!? Почему нельзя с вершины прыгнуть в небеса и жить себе по небесным законам, всем на радость!  
НАТАЛЬЯ. Для русского артиста неба нет, есть потолок своего этажа, над которым надстроен ещё один – для руководства. Большая фантазёрка наша Любовь Павловна! Не светская, не умеет себя поставить. Много простоты и никакой хитрости. Нехорошо относиться к себе спустя рукава, быть слишком простым, люди того не ценят, а уж про начальство и речи быть не может. Иди уже.  
ПИНАЕВ. Но она же не со зла, она такая, как есть.  
НАТАЛЬЯ. Ну, так, может, и надо было оставаться там, где есть, а не лезть на сцену!  
ПИНАЕВ. Не говори так, минута рядом с величием Косицкой, для людей полезнее всей жизни.  
НАТАЛИЯ. Да хватит уже про людей-то! Они, что ли, жизнью правят! А как она за кулисами, при мне ещё, одному важному аристократу из Петербурга сказанула, прости Господи, прилюдно: «Вот вы с очень изысканными манерами, а выпусти вас на сцену – не будете знать, что с собой делать»! А разве прилично, будучи первостатейной артисткой императорской сцены, так и оставаться всё той же «Любашей», говорить на жаргоне бывшей горничной,  называть публику кресел и бельэтажа, притом, не без сарказма, «господа дворяне».  
ПИНАЕВ. Да, у неё это, как автограф. (Изображает Косицкую.)  «Много довольны приёмом господ дворян!»  
НАТАЛИЯ. Ступай уже, друг мой, детей проведай, они скучали, а ты про них даже не спросил.  
ПИНАЕВ. Так я их у ворот, с няньками, встретил.  
НАТАЛИЯ. Ах, да, время прогулки же… заспалась. Разнежилась.  
ПИНАЕВ. Тебе к лицу, красивее, чем, когда ты в хлопотах, заботливая моя. Что ж, пойду. А чего не спрашиваешь, почему раньше срока вернулся?  
НАТАЛИЯ. Думала, за столом будет, что обсудить. И почему?  
ПИНАЕВ. Не все справки собрал, оказывается. Думали, реформа жизни даст, а она, чуть приоткрыла форточку для свежего воздуха, а теперь не только, что её захлопнула, так ещё и ставнями замуровала, и землёй засыпало, и снегом завалило. При Александре Втором Освободителе оказалось хуже, чем при его отце Николае Палкине, вот так-то. Что ж, будем ждать на царство Александра Третьего, сами-то мы ничего не можем, потому что ничего не понимаем.  
НАТАЛИЯ. Господи, да хватит нам уже болтать, Боренька, ступай, ради Бога, и я сейчас соберусь.  
ПИНАЕВ. До встречи, дорогая. Супруга ты моя… ненаглядная. Половинка моя. (Уходит.)  
НАТАЛИЯ. Молчать. Проверюсь. (Идёт к двери, за которую ушёл Пинаев, выглядывает.) Лежать. Скажу, когда. (Идёт к другой двери, выглядывает.) Всё, выползай.  
  
Из-под дивана выбирается Федос.  
  
ФЕДОС. Побежал я?  
НАТАЛИЯ. Вещи все собрал?  
ФЕДОС. Ну, да… вроде.  
НАТАЛИЯ. Не торопись, надо кончить тему Москвы.  
ФЕДОС. Ты что, твой в любой момент зайдёт…  
НАТАЛИЯ. Не зайдёт. Он сейчас до первой кушетки доберётся и плюхнется дрыхнуть.  
ФЕДОС. Не помывшись?  
НАТАЛИЯ. Пока Пинаев распинался, мне вот, что пришло на ум. Чтобы тебе зависнуть в Москве, можно приклеиться к какой-никакой бабёнке, чтоб и кров, и стол, и тёплый уголок, куда возвращаться можно.  
ФЕДОС. Много ума надо, чтоб придумать этакую комбинацию. Где ж бабёнку взять?  
НАТАЛИЯ. Есть одна.  
ФЕДОС. И не приревнуешь?  
НАТАЛИЯ. Ты совсем глуп, Федос, кто ты мне, рыцарь счастья моего, что ли, или ангел сердца! У меня для всего этого супруг есть законный. А ты так, грелка в минуту озноба.  
ФЕДОС. Да слышал уже, хватит раскрашивать наш чёрно-белый альянс. Думаешь, приятно? Чёртов отец, придумал воспитывать взрослого сына, опоздал! А-то невдомёк, через что сыну проходить приходиться, чтобы просто выжить, сколько унижения, обид и незаслуженного душевного избиения.  
НАТАЛИЯ. Тоже мне младенец иродов. Сигать из постели в постель тебе обида или унижение? Ах, избиение, наверное, так ведь ты любишь жёсткость, или я не с тобой тут который год кувыркаюсь.  
ФЕДОС. Наталия… помолчи, а? Вернее, давай уже, выкладывай, что надумала, да я побегу пристраиваться. Очень уж в Москву хочу! Разве справедливо, иметь дом на Чистых Прудах и быть запертым в глухомани по отцовскому самодурству!.. а время-то, юность моя бурлит, как речной поток с горы и уходит в пропасть небытия…  
НАТАЛИЯ. Забавный ты, Соколов, ничего путного из тебя точно не выйдет. Так что, чем раньше с глаз долой, тем чище мой личный горизонт.  
ФЕДОС. Так, и кого охмуряем?  
НАТАЛИЯ. Косицкую. Тётю мою. Любовь Павловну. Что? Рот закрой, кишки застудишь, зима задержалась, продует.  
ФЕДОС. Ты в уме!?  
НАТАЛИЯ. Отудивлявшись? Хорошо. Она добрая, а теперь ещё и одинокая. Дом, деньги есть, ценностей надарено, без любви, как без пряников, жить не может долго, не тебя, так другого проходимца пригреет.  
ФЕДОС. Я с вас обомлеваю, Наталия Сергеевна!..  
НАТАЛИЯ. Да не тяни. Прямо сейчас, пока разогретый, иди на берег; знаешь ведь, где она всегда стоит и вечно мечтает. А-то уедет не сегодня-завтра, у ней вот-вот спектакль.  
ФЕДОС. Да я даже не придумаю, как приступиться к такому памятнику! Она ж не какая-то бабёнка, даже не просто женщина!..  
НАТАЛИЯ. Обыкновенная свежеиспечённая вдова, ничего особенного.  
ФЕДОС. Она – Россия!  
НАТАЛИЯ. Чего-чего!?  
ФЕДОС. Россия она… родина. Ну, воплощение, конечно, человеческое, но всё же. Я с детства только так её принимаю, и не я один.  
НАТАЛИЯ. Честно говоря, у меня слова кончились. Ну, ты, купчик… иди куда хочешь. Но если надумаешь взять приступом мою обыкновенную тётку Любку, попроси рассказать что-то. Например, про то, как она полюбила театр и как ушла к нему от семьи. Сколько знаю, она про это так никому и не говорила. Многие спрашивали, а она, как положено истинной простолюдинке, на первый раз всегда отказывает. Редко, кто просит вдругорядь, тогда она обещает поведать когда-нибудь. А вот трижды её так никто и не спросил, а ведь рассказала бы. Что ж поделать, если Россия только с третьего раза заводится, зато так, что потом не остановить, и лучше было бы не заводить. Тётя Люба – Россия? Ну, ты пиита… Всё, ступай, мне супруга обихаживать надо.  
ФЕДОС. Завтра встретимся…  
НАТАЛИЯ. Нет, не встретимся, купчик. Больше ко мне не подступай и в дом мой впредь ни ногой.  
ФЕДОС. А побузить напоследок?  
НАТАЛИЯ. Дурак ты и не лечишься. Однако, мою бузу не забрасывай, бери в Москве уроки, пригодиться. На дуэль тебя, лапотник, не вызовут, но душу выбить могут легко. Буза от многих бед охранит.  
ФЕДОС. Зверская ты женщина, Наташка, такую никогда не объездишь.  
НАТАЛИЯ. Пошёл, ездок.  
ФЕДОС. Пошёл. (Уходит.)  
НАТАЛИЯ. Я не зверь, я человек.  
  
Распахивается дверь в комнаты, на порог выходит Пинаев.  
  
ПИНАЕВ. Меня редко ставили в драматические спектакли, а вот в водевилях на меня всегда был спрос.  
НАТАЛИЯ. Боря…  
ПИНАЕВ. По водевильному  чину знаю, что делать, но так-то бы не хочется.  
НАТАЛИЯ. Тебе сказали.  
ПИНАЕВ. Ты ещё дознание устрой!  
НАТАЛИЯ. А чего ты хотел! Мне нет и двадцати, а я погребена заживо! Ни людей вокруг, ни праздников, ни даже треклятого театра с закулисьем!  
ПИНАЕВ. Сама выбрала.  
НАТАЛИЯ. Да. Сама. И ошиблась. Не в тебе, супруг мой, ты мой ангел…  
ПИНАЕВ. Не ври.  
НАТАЛИЯ. Роды, огороды, завод, мастерские, скотный двор… А я пустого фейерверка хочу! Глупого смеха! Беззаботных лиц! Мне радости хочется, я её люблю – радость! Думала, ну, уж в Швейцарию-то отвезёт, пусть не Париж с Веной, пусть хоть лечебницу с водами да заграничными горами покажет, так ведь нет! А чтоб уж точно никогда и ничего, обрюхатил.  
ПИНАЕВ. Ой ли, я ли…  
НАТАЛИЯ. Да думай, что хочешь. Ты хороший, Пинаев. Но мне тебя мало. Ну, что это за мужчина: брык на диван… (Изображает Пинаева.) Спаси и сохрани, Господи, раба твоего Пинаева… только не пинай… я же сплю. (Отбрасывает маску.) Водевиль – несерьёзная пьеса, придумана для заставки в полнокровной драме, или хотя бы в комедии.  
ПИНАЕВ. Зато мне тебя много.  
НАТАЛИЯ. Ты без меня пропадёшь, вместе с твоим натуральным хозяйством. И дети наши, они больше мои. Не руби с плеча.  
ПИНАЕВ. Да.  
НАТАЛИЯ. Пинаев! Я не вру, ты – мой ангел.  
ПИНАЕВ. Да. (Уходит.)  
НАТАЛИЯ. Ох, узнаю, кто предал хозяйку… распылю, испепелю! Что ж это я!? Как так… опростоволосилась. Ничего, из грязи в князи и обратно – это у нас семейное, выберемся. Детки помогут, зря рожала, что ли. Как же всё же это неприятно. И досадно. А всё же хочется водевиля.  
  
  
Сцена 6. На берегу - Косицкая.  
  
КОСИЦКАЯ (поёт).  
Сяду ль я на лавочку,  
Погляжу ль в окно,  
Погляжу ль в окошечко –  
На улице дождь;  
На улице сильный дождь,  
На дворе туман.  
На дворе туман  
Притуманился,  
По мне мой сердечный друг  
Пригорюнился…  
Ах, головка болит,  
Болит буйная головушка!  
  
Входит Федос.  
  
ФЕДОС. Чудо… Несказанно! Любовь Павловна, вы… вы…  
КОСИЦКАЯ. Соколов Феодосий Самсонович, купеческий сын, помнится?  
ФЕДОС. Да Федос - я, просто Федос. Мимо иду, а тут… тут…  
КОСИЦКАЯ (озорно). А тут мы. Голосим, а что делать, работный инструмент надо в масле держать, в готовности.  
ФЕДОС. Ангел вы русский, наш, вот вы кто!  
КОСИЦКАЯ. По-всякому меня называли, но так не бывало.  
ФЕДОС. Как же, как же вы из крепостных крестьян в Божьи выси рискнули взлететь! Это же страшно решиться.  
КОСИЦКАЯ. Сумели удивить, Феодосий Самсонович, об одном никогда не говорили, а об этом уже давным-давно не спрашивали.  
ФЕДОС. Простите дурака деревенского, что пристал, не хорошо сделал, да?  
КОСИЦКАЯ. Минуло мне двенадцать лет. Зима для меня была невыносима, я не видела света Божьего.  Летом я забывала свои труды: день большой, успеешь и набегаться, и наиграться, и наработаться, летом и мать меньше бранила. Она такая воркунья; огорчала тем, что я не могла ничем угодить ей; она сердилась даже на то, что я начала терять здоровье. Всё говорила, что я ленюсь, что я нерадивая и очень редко ласка выпадала мне на долю. Один раз мать бранила меня, что я не хорошо выгладила какие-то брюки; я сказала, что не могу лучше; она хотела меня бить и упрекнула даже, что я дармоедка. Этот упрёк так был горек для меня, что я не могла даже плакать, и не долго думая, пошла да и нанялась в горничные, из-за хлеба и платья.  
ФЕДОС. В двенадцать?  
КОСИЦКАЯ. Дама, к которой я поступила, была купчиха. Я могу сказать и имя её и фамилию: добрых людей скрывать нечего. Звали её Прасковья Аксёновна Долгонова.  
ФЕДОС. Добрая купчиха… Петух тоже, вроде бы, курица, да только не несётся, а топчет.  
КОСИЦКАЯ. Она оказалась очень доброю и прекрасною женщиною; была первою красавицею в городе.  
ФЕДОС. А в городе том, небось, две избы да плетень с пугалом, единственным, что осталось от огорода.  
КОСИЦКАЯ. А Нижний Новгород, не хотите ли?  
ФЕДОС. Ого. Это да… И добрая была купчиха?  
КОСИЦКАЯ. Она взяла меня к себе и полюбила, и ласкала как дитя своё; я хотела оправдать вполне её любовь ко мне и делала всё и в силу и не в силу. Она понимала это и привязалась ко мне. Но не вынесла таких трудов и захворала, простудилась…захворала крепко!  
ФЕДОС. Дай вам Бог здоровья.  
КОСИЦКАЯ. И была опять взята в отчий дом. Я была очень религиозна, и всё свободное время посвящала чтению священных книг. Выздоровела я и, разумеется, прежде всего, пошла к обедне, и потом опять отправилась к моей дорогой Прасковье Аксёновне. Она, увидав меня, обрадовалась, зацеловала и потащила к мужу. И оставила у себя, но уже не для работы, а для своей забавы. «Хорошо мне», думала я, «но чего же я хочу ещё-то?» И сколько раз безотчётная тоска овладевала мною, сколько раз я хотела бежать далеко, далеко – а куда, сама не знаю.  
ФЕДОС (всерьёз). Знакомо… как же, как же. И нам было двенадцать лет.  
КОСИЦКАЯ. Грудь мне сожмёт, слёзы хлынут и я, изнеможённая, упаду на подушку и выплачу своё тайное горе. Иногда страшные видения тревожат, под ногами пропасть, а мне идти надо… Я кричу и просыпаюсь, и страх нападёт…  Или вдруг рай небесный откроется. И я наслаждаюсь райскою жизнью, и целая ночь пройдёт, и вставать не хочется. А иногда безотчётная бешеная радость овладевала мною, я пела, прыгала, плясала, как будто горе никогда не касалось до меня. Пошёл мне уже четырнадцатый год, я не знала, как летело время. Было это 29 декабря 1843 года. Вечер, я была уже одета, подали лошадей; меня била лихорадка от ожидания. Подъехали к театру. Вошли в ложу. Народу так много и светло так; меня бросило в жар. Успокоилась немного, мы сели. Заиграл оркестр, я испугалась и ахнула. Оркестр кончил, занавес взвился. Давали драму «Красное покрывало»; играли: сама Вышеславцева, Трусов и многие другие. Вся жизнь моя перешла в актёров, и я ужасно тосковала, когда опускали занавес. А к концу пьесы у меня сделалась лихорадка. Прошла неделя, и я каждое утро спрашиваю: что, мы сегодня поедем в театр? Поехали ещё раз. Я вновь заболела. Мало-помалу пришла в себя с таким выводом: театр – моя жизнь. Явилась я к матушке тише воды – ниже травы, но очень трудно мне было начать говорить с нею. Много нужно было иметь силы воли, чтобы сказать такой строгой матери, что дочь её хочет быть актрисою. Она и больших-то детей била своими руками, убьёт она меня, думаю; ну, будь что будет, Господи, не оставь меня! Как только хочу ей сказать, зачем приехала, так дух и замрёт. И ходить-то в театр грех, по её словам, так тут и думать нечего, чтобы она согласилась на моё желание; но надо же было решиться, да и я измучилась, уже три недели прошло в такой пытке. Вот я говорю ей: «Мамаша, я за делом приехала к вам». Она говорит: «вижу, что за делом, верно лоскутков просить, - так у меня нет!» Нет, говорю, не за лоскутками, мне лоскутков не надо, а благослови меня, я хочу на сцену поступить. Она остолбенела, да и говорит: «в актрисы, что ли?» Да, я говорю, в актрисы. Глаза у неё загорелись таким гневом, что мне страшно стало, я упала на колени и заплакала. Говорю: не отказывайте мне, не губите меня. Не забуду я её гнева, она молчала долго, наконец, разрешился её гнев. «Хорошо, говорит, ты придумала! Как бы я это знала да ведала, задушила бы при рождении. Коли ты не хочешь знать матери, так пойди, утопись лучше, а в театр не ходи. А если ты ослушаешься меня, то я прокляну тебя, ты это попомни». А если умру, маменька, коли вы не пустите меня в театр? «Умри; я с радостью похороню тебя, но об этом и думать не моги».  
ФЕДОС. Какие же порою злодейскими женщинами бывают матеря… выразить нельзя! И как же вам удалось вырваться из материнских объятий?  
КОСИЦКАЯ. Месяц прошёл в метаниях. Я даже в монастырь ушла, не сказавшись, благо там меня сёстры хорошо знали. Они стали, разумеется, спрашивать. Я сказала. Они пришли в ужас от таких слов, начали уговаривать. И я стала молиться, читать святые книги, хотела найти нет ли где проклятия театру – и что же! Открываю первую книгу и читаю: «на всяком месте владычество Его». Но один монастырь открывает нам райские двери, но и добрые дела наши! Я спросила себя, кто же запретит мне делать их, когда я буду в театре.  
ФЕДОС. Но вас искали, конечно.  
КОСИЦКАЯ. Конечно. И потеряли всякую надежду. Мама разыскала, я подглядывала, видела, как она обрадовалась, что я жива. А потом собралась вся семья, произнести мой приговор. Откуда взялась у меня смелость и сила, не знаю, я сказала им всем, что если вы не исполните моего желания, то я могу исполнить своё и, всё равно, мне не жить без театра, я не пожалею себя – Волга велика и для меня найдётся в ней место. Долго они советовались, долго мучили мою душу, я сидела, как мраморная; меня брат спросил, отчего я не говорю. Тот самый, к слову, чья дочь Наташа теперь поступает в нашу школу.  
ФЕДОС. Чудна судьба.  
КОСИЦКАЯ. Нечего, говорю я брату, нечего мне сказать вам, делайте со мной, что хотите, но мне не жить с вами, не ваша я теперь, и Господь вас накажет за то, что меня так мучаете. Подошла к отцу, упала ему на руки и залилась слезами. «Тятя! Заступись хоть ты за меня! Я умру скоро, у меня грудь болит от тоски и слёз». Он добр, умён и горд, опять поцеловал меня и сказал: «удерживать её мы не имеем права и отнимать у неё, может быть, счастье всей жизни! Пусть её с Богом идёт на все четыре стороны; ещё её, может быть, и не примут».  
ФЕДОС. Ишь ты! А мама, что ж?  
КОСИЦКАЯ. «Ну, Бог с тобою, - сказала матушка, - только ты знай, что я тебя брошу, живи, как хочешь, одна». Горько мне стало, но камень спал с сердца, я поцеловала у ней руку и говорю: «милая, не сердись на меня, я не сделаю ничего дурного».   
ФЕДОС. Вот как.  
КОСИЦКАЯ. Да, так как-то.  
ФЕДОС. Такая вы, Любовь Павловна, глубокомысленная, просто аж радоваться хочется без ума, и даже плакать, хоть я мужчина.  
КОСИЦКАЯ. Я уж думала никто не спросит о заветном. Спасибо, что спросили.  
ФЕДОС. А пойдёмте, я вам покажу наши окрестности. Вот вы облюбовали одно место, уже вдругорядь в наших краях, а всё на этом месте. Здесь ведь есть места и попрекраснее, позаковыристее! Идёмте, Любовь Павловна!  
КОСИЦКАЯ. А когда я пришла после прощаться окончательно, на Пасху, батюшка был выпивши, перекрестил меня, да и говорит мне: «Не приходи сюда больше, заедим мы тебя». Сердце моё облилось кровью, поплакала немного, да и в путь, взяла образок, которым благословили меня, взяла узелок. Идёмте, Феодосий Самсонович, идёмте, куда скажете, туда и пойдём.  
ФЕДОС. Да, Федос – я, Федос. (Уходит с Косицкой.)  
   
  
СЦЕНА 7. Две недели спустя. Утро. Беседка. Пинаев, с котомкой, в сермяге, садится на скамью.  
  
ПИНАЕВ. Дом… мой милый дом. Бог знает, прав ли… ну, да раз уже вышел, что ж теперь.  
  
Мимо идёт Островский.  
  
ОСТРОВСКИЙ. Добрый день.  
ПИНАЕВ (в спину). Не проходите мимо.  
ОСТРОВСКИЙ (резко развернувшись). Борис!  
ПИНАЕВ. Не признать в сермяге старого комика?  
ОСТРОВСКИЙ. Здравствуй, дорогой мой человек.  
ПИНАЕВ. Расцелуемся, что ли. (Целуется с Островским.)  
ОСТРОВСКИЙ. Сказали, Люба у тебя гостит, я и сорвался, приехал.  
ПИНАЕВ. Гостит, да не у меня, у племянницы.  
ОСТРОВСКИЙ. Что-то произошло?  
ПИНАЕВ. Я ж присел только, чтоб попрощаться с любимой беседкой, а так-то бы ухожу. В монастырь.  
ОСТРОВСКИЙ. Да Бог с тобой!  
ПИНАЕВ. Кабы так, не пришлось бы идти за тридевять земель. Хочу в Сергиеву лавру попроситься, а нет, так направят куда.  
ОСТРОВСКИЙ. Чего ты!  
ПИНАЕВ. Ну, видишь ли, друг мой… времена осадили. Кто-то хочет, чтоб вчера вернулось, кто-то рвётся в завтрашний день… А мне так кажется, что и сегодняшнего дня-то на свете не существует, если сам с собой не в ладу и в полной непонятности.  
ОСТРОВСКИЙ. Так не в монастырь же сразу, Боря, что ты!  
ПИНАЕВ. Дык, а я и не сразу.  
ОСТРОВСКИЙ. С Наталией разлад?  
ПИНАЕВ. И с ней. Люба здесь, да. Похорошела… да вон идёт.  
  
Входит Косицкая, собранная в дорогу.  
  
КОСИЦКАЯ. Островский!? Господи! Как же я рада тебя видеть! Милый мой человек, прости, но дай мне тебя зацеловать!  
ОСТРОВСКИЙ. Любанька… зорюшка… (Целуется, наперебой, с Косицкой.)  
КОСИЦКАЯ. Ну, будет, будет, расплачусь. К Боре приехал? Так жаль, что разминёмся. Меня экипаж ждёт, в Москву возвращаюсь.  
ОСТРОВСКИЙ. Как, зачем…  
КОСИЦКАЯ. Спектакль!  
ОСТРОВСКИЙ. Люба…  
КОСИЦКАЯ. Александр Николаевич! Рискую, и этот, четвёртый раз не откажете просьбе моей, но всё-таки буду просить вас, уделите мне время, может быть, и недолгое; напишите что-нибудь для моего бенефиса. Уж, разумеется, вы меня этим обяжете так много, что слово моё будет ничтожно для благодарности. Я буду благодарить вас душой моей, исполненной любовью к вам, самой чистой, самой тёплой. Всё прошедшее, как живой человек, стоит передо мной. Нет, не хочу больше, ни слова, прошедшего нет более нигде. Напишите мне, исполните вы мою просьбу или нет, и до свидания.  
ОСТРОВСКИЙ. Люба! Послушай…  
КОСИЦКАЯ. Прощайте, друг мой, прощайте! И напишите мне, письмо мне напишите! (Убегает.)  
ОСТРОВСКИЙ. Боря, пожалуйста, в чём дело?  
ПИНАЕВ. Эх, не успел дать обет молчания, как собираюсь.  
ОСТРОВСКИЙ. Да ты и не монах ещё!  
ПИНАЕВ. Так сказала же: спектакль.  
ОСТРОВСКИЙ. Нет у неё никакого спектакля, и кто знает, будет ли когда!  
ПИНАЕВ. До такой степени задвинули?  
ОСТРОВСКИЙ. До такой, до такой! А она как будто счастлива, я же всем телом почувствовал, она счастлива! Почему!!!  
ПИНАЕВ. Роман у неё. С купчиком одни. С Соколовым, если помнишь.  
ОСТРОВСКИЙ. Да ведь купец Соколов же сама надёжность!  
ПИНАЕВ. Сказал же: с купчиком, не с купцом.  
ОСТРОВСКИЙ (поражён). С сынком, что ли…  
ПИНАЕВ. Да.  
ОСТРОВСКИЙ. Да ну она же не дура, битая, учёная же не раз, и старше его чуть не вдвое… О, горе.  
ПИНАЕВ. Боюсь, горше для Любы времён ещё не было. Если бы только она это ещё осознавала.  
ОСТРОВСКИЙ. А я, знаешь, зачем приехал? Предложение ей сделать, под венец отвести.  
ПИНАЕВ. Боже ж ты мой… Боже ж ты мой… Боже ж ты мой…  
ОСТРОВСКИЙ. Посижу чуток, переведу дух и – к брату, пожалуй. (Глядит в себя.)  
ПИНАЕВ. Хочу на прощание попросить тебя, Александр Николаевич, взялся бы ты за мемуары. Мой родственник решил издательство купить, так вот, говорит, хочу всерьёз взяться о нашем веке документальные истории публиковать, с продолжениями. Саша, слышишь меня? Ну, что ж. Ладно. Пойду. По пути, если подберёшь, не откажусь, сколько-то ещё вместе побудем, если к брату собрался, ну, а нет, так уже всё одно. Монахом, может, и не стану, но пожить среди святости и каждодневных трудов надо. А там, как Бог управит, если Он меня вообще заметит. На супругу доверенности я не выписал, мало ли, вернусь. Тебя я, дорогой мой Островский, Саша… Александр Николаевич, всегда любил, и любить буду. Прощай. (Уходит прочь.)  
ОСТРОВСКИЙ (не зная, что Пинаев ушёл). Я очень хорошо чувствую и всегда памятую, что на мне лежит долг сказать всю правду, какую я знаю, о многих лицах, принадлежащих уже истории: о литераторах, артистах, художниках… Иных я знал очень хорошо, с другими был близок, а с некоторыми был в самой короткой дружбе. Я сам мечтаю, что «вот я буду писать свои воспоминания», как это будет мне приятно, как это будет живо и правдиво, сколько нового я скажу… Но я знаю в то же время, что мечты мои так мечтами и останутся. Чтобы привести в порядок свои воспоминания и хоть только начать их, как следует, нужны покой и досуг; а ничего этого у меня нет, не будет и быть не может!.. Я только и делаю, что или работаю для театра, или обдумываю и обделываю сюжеты вперёд, в постоянном страхе остаться к сезону без новых пьес, то есть без хлеба, с огромной семьёй, - так уж до воспоминаний ли тут! Боря… Боря? Прощай, Боря. Прощай, дом. Прощай, сегодня, здравствуй, завтра. (Уходит прочь.)  
  
  
  
  
  
  
ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЁРТОЕ (1868 год)  
  
СЦЕНА 8. Самое начало сентября. Задний двор дома Пинаева, где скотный двор соседствует с садом и огородами. Здесь не чисто от скота и заболоченности. На пороге старого сарая сидит изнурённая смертельной болезнью, исхудавшая Косицкая; её сразу не узнать, особенно во множестве накинутых на неё предметов одежд – она мёрзнет изнутри. Ест похлёбку из миски. Входит Федос.  
  
ФЕДОС. Наталия! Ау! Эй, бабушка, хозяйка здесь была, Наталия Сергеевна?  
  
Входит Наталия, с дохой в руках.  
  
НАТАЛИЯ. Соколов?  
ФЕДОС. Наталия Сергеевна!  
НАТАЛИЯ. Доложили, что ты явился. Даже знать не хочу, зачем. (Косицкой.) Съела хоть сколько-то? Хлебай-хлебай, не к спеху, обожду. Доху принесла. Старая, но тепло держит. Хороших одежд сюда жалко носить, провоняют так, что не выветрить. Сразу одеть хочешь? Нет-нет, доешь миску дочиста, потом дам, по-другому никак, тебе кушать надо.  
ФЕДОС. Сердобольная вы, добрейших душевных качеств человечище…  
НАТАЛИЯ. И что?  
ФЕДОС. Что?  
НАТАЛИЯ. Какого ляда здесь?  
ФЕДОС. Так сказали, что вы на заднем дворе, я и пошёл прямиком, без захода в дом.  
НАТАЛИЯ. Потрёпан, потаскан.  
ФЕДОС. Ой, да ладно, поживу на мамкиных харчах, вернусь в берега, дело молодое. Наташенька…  
НАТАЛИЯ. А вот этого не надо, не люблю фамильярности, мало ли, что с кем было когда-то. И наперёд сообщаю, я – женщина замужняя, солидная, авторитетная, баловства и всяких фейерверков попусту не позволяю, особенно когда мимо кассы. Или вы за делом пришли, Феодосий Самсонович? А нет, так пылите отсюда, и в последний раз говорю: увижу на моём дворе растопчу. Ещё вопросы остались?  
ФЕДОС. Вопросов нет. Умоляю только проявить ко мне милость. Я кардинально изменился в последние годы, решил остепениться, в отцовы дела, рассчитываю, вникнуть.  
НАТАЛИЯ. Так он тебя, шаромыжника, и подпустил.  
ФЕДОС. Я не шаромыжник!  
НАТАЛИЯ. А кто? Ну, кто ты?  
ФЕДОС. Ну, я… этот… это…  
НАТАЛИЯ. Пять лет назад был милым юнцом, мечтающим о пустопорожней жизни с огоньком. Пару лет назад ещё был вертопрахом. А теперь шаромыжник чистейшей воды.  
ФЕДОС. Я пришёл не за этим.  
НАТАЛИЯ. Зачем же?  
ФЕДОС. За тобой. Вернее сказать, к тебе. Пусти меня обратно! Ты же одна, супруг твой пропал, говорят, в монастыре нет, домой не вернулся, может, убил кто…  
НАТАЛИЯ. На всё воля Божия.  
ФЕДОС. …Женихов не подпускаешь, но ты же человек! А я тебе всегда подходил. Знаю точно, меня не забудешь. Ни одна женщина моя меня забыть и хотела бы да не может, а могла бы, так не хочет. Кроме тебя! Наташенька… Натуля… Натик мой ненаглядный, ты самая вездесущая для меня женщина! Страдаю по тебе, печалюсь, плачу, бывает, так мне было мило с тобой, чудно, по-доброму. Верни меня к себе обратно, солнышко ясное, обогрей!  
НАТАЛИЯ. И совесть не гложет? И страха нет? Бессмысленный ты человечек.  
ФЕДОС. Да какой же страх перед любимой женщиной, только почтительный, обязательный, как перед иконой…  
НАТАЛИЯ. За погубленную, обобранную тётушку мою!  
ФЕДОС. Что? Да Бог с тобой, там чего и было, уже забылось. Да она сама швыряла деньги и брилльянты, я ж не крал, не грабил, жил, как жилось, соответствовал ситуации. Чего ж отказываться от праздника, если тебя в него мордой тычут, да ещё с радостью. Не я обирал, и уж точно не я губил, старушка сама пустилась во все тяжкие!  
НАТАЛИЯ. Зачем же бросил её, больную? Хоть бы мне сообщил.  
ФЕДОС. Я уходил, она ещё в здравии была, полном, не полном, мне не признавалась! А что там с ней после меня стряслось, так я-то при чём? В конце концов, я же тоже на неё здоровье тратил, юность мою под её ноги постелил! Или, думаешь, она дура совсем, что ли? Не зря же таскала меня по всем домам, по людям, по банкетам, значит, надо было зачем-то ей! Вот, мол, какая я – царица, всех царственнее, всех властительнее, ни у кого нет такого прекрасного мужчины, который рядом со мной, а значит, я сама распрекрасная прекрасность прекраснее всего в свете! Я так понимал и понимаю. Ну, расстались и – вся любовь! Дальше каждый сам за себя, на Страшном Суде-то за душу Косицкой меня спрашивать не станут, с меня за меня спросится, так чего ж мне из-за твоей тётки всю жизнь в её бане париться, я лучше свою построю…  
НАТАЛИЯ. Или в другую чужую войду, нет?  
ФЕДОС. Говорю же, светик мой, перемена у меня случилась, в нутрях что-то щёлкнуло как бы, и я решился на новый жизненный этап. Прими меня, ради Бога!  
НАТАЛИЯ. А что с Любовью Павловной теперь, не интересуешься?  
ФЕДОС. Да слыхал, что задвинулась она в пыльный угол театра, даже последний бенефис не смогла отыграть, все роли свои другим артисткам передала, а сама вышла в какой-то пустяшке, даже сплясать не смогла, вместо неё мамзели из театральной школы выдавали. Одна корзина цветов всего-то и стояла после бенефиса. Кубок ей серебряный преподнесли, большой, такой едва ли не одному только Щепкину подносили, но тогда в нём звенели положенные червонцы, а кубок Косицкой был пуст! Вот и всё. Меня там не было, я вообще забыл про старуху.  
НАТАЛИЯ. Ей в этом месяце всего-то сорок два года будет.  
ФЕДОС. Если будет. Говорили, сильно болеет, едва не на ладан дышит, я даже названия хворобы её не знаю, но зачем мне это! Мне-то что до того, у каждого свой срок.  
КОСИЦКАЯ. Карцинома.  
ФЕДОС. Что?  
КОСИЦКАЯ. Дочиста. Подай доху…  
НАТАЛИЯ. Давай миску, сейчас оденемся… (Забрав миску и ложку, помогает бессильной Косицкой надеть доху.)  
КОСИЦКАЯ. Карцинома – это опухоль в теле. Сжирает нутро, даже душу.  
ФЕДОС (узнавая Косицкую). Да нет… нет же… Люба!?  
НАТАЛИЯ. Люба, Люба…  
ФЕДОС. Зачем же ты сразу не сказала, зачем этот разговор был…  
НАТАЛИЯ. А скучно. Завтра тётушку в Москву увезут, совсем тоска.  
ФЕДОС. Но почему здесь, рядом со скотом!?  
НАТАЛИЯ. Сама отказалась пребывать в доме, воняю, говорит, болезнью, ни к чему дом загаживать. А здесь, говорит, мне, плебейке, самое место, на заднем дворе. Это так-то она о себе теперь думает. Потеплело с дохой?  
ФЕДОС. Господи, Любовь Павловна… прости меня…  
НАТАЛИЯ. Потеплело. Ничего, царица – помазанница Божья, она выше человечьих копошений, так ведь, тётя Люба?  
КОСИЦКАЯ. Сказано в Евангелии от Луки…  
НАТАЛИЯ. Опять понесло…  
КОСИЦКАЯ. «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям: ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос Господь, и вот вам знак: вы найдёте Младенца в пеленах, лежащего в яслях. Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, Который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. А как вы - сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, вопиющего “Авва, Отче!” Посему ты уже не раб, но сын, а если сын, то и наследник Божий через Иисуса Христа». Когда из крепостных я выбилась в артистки, стала первой из первых, решила я про себя, что так и есть, я – Божье Дитя. (Падает в обморок.)  
ФЕДОС. Она умирает?  
НАТАЛИЯ. Да нет, просто организм так у неё дыхание переводит, отдыхает. Полежит да поднимется. А нет, так тому и быть, отмучается, жалко же.  
ФЕДОС. Как же она из Москвы сюда добралась?  
НАТАЛИЯ. Человек к ней под Пасху пришёл, мол, дачу вам на всё лето сказали снять под Воскресенском. Я, говорит, договорился, просят сто пятьдесят рублей; она наскребла и отдала. После Пасхи поехала в Воскресенск, а там пусто, никто, ничего не снимал. Тю-тю денежки. Надули. Обобрали.  
ФЕДОС. Но до Воскресенска-то отсюда путь не близкий…  
НАТАЛИЯ. Ну, всё же она знаменита, где подали, где пешком, а-то и ползком, как я понимаю. Добралась до меня.  
ФЕДОС. Благо, что ты умеешь любить и жалеть!  
НАТАЛИЯ. Верно. И ведь с запиской приходил мошенник. Спросишь, от кого? От кого же, как не от родственничка. Родственники – наша смерть, чума для всякой семьи; такой вот парадокс с котятами. Бывшая свекровь ей покоя не даёт, бог знает, за что так не любит. Даже шубу отобрала, и в одеждах её же при ней расхаживает, и вещи вывозит, а у царицы нашей сил нет не то, что остановить, слова сказать не может. Доброта её и всепонимание душит. Так что, теперь у неё две смертельных болезни развились: карценома и гуманизм.  
КОСИЦКАЯ (поднявшись). Но я не смогла, закружилась. Забыла, что быть Божьим Дитём – это же великий труд, на каждый день, на сию минуту. И подвиг этот я не сдюжила. Так что, как была рабой Божией, так и осталась. Плебейка. Одна радость, раба-то я всё же Господа! (Падает в обморок.)  
ФЕДОС. Люба!  
НАТАЛИЯ. Эх, раба ты наша Божия Любовь, отдыхай.  
ФЕДОС. И часто она так обмирает?  
НАТАЛИЯ. Не знаю, недосуг следить, есть и кроме родни дел по самую макушку, не надо мешать.  
ФЕДОС. Сколько же в ней силы душевной…  
НАТАЛИЯ. Не дай нам, Господи, прожить так, чтоб силу свою на скотном дворе проявлять.   
ФЕДОС. Прости, Люба.  
НАТАЛИЯ. Федос.  
ФЕДОС. Да, Наталия Сергеевна?  
НАТАЛИЯ. Готов побузить, а-то я застоялась?  
ФЕДОС. Хоть вусмерть, делай со мной, что можешь. А ничего, что бузу-то я не бросал?  
НАТАЛИЯ. Ещё лучше. Проверю, не околела ли тётка. Иди в дом. Я – сейчас.  
ФЕДОС. Благодарю. (Уходит.)  
НАТАЛИЯ (проверяет пульс Косицкой). Не разобрать… Пусть, пришлю после кого опытного проверить. Да уж, по хозяйству работы делать, это вам на театрах жизнями дрыгать. Ох… как же сладко, что миновала меня чаша артиста, пусть её себе другие пьют. (Уходит.)  
КОСИЦКАЯ (поднимается). Встану ранёшенько и уйду в сад, возьму, разумеется, рукоделие для заработка. Из этого сада и Ока, и Волга видны вёрст на сорок кругом. У нас сад русский, вроде леса; насажали всякой всячины, растёт это, как Бог велел – яблони, малины разной, кружевник, смородина тоже всякая, тут и ещё какие-то деревья, и дуб в этом числе подле забора. Под ним природная скамья и стол зелёный, двумя гвоздями приколоченный к столбу посредине, вот тут-то я и помещусь. Работаю и песенки пою, а ручейки со всех сторон так и журчат-журчат по мелким камушкам…

© Copyright: [Кушнир Вячеслав](https://proza.ru/avtor/forik), 2020